Нью-Йорк – Москва – Любовь

Автор:
Анна Берсенева

Нью-Йорк – Москва – Любовь

Анна Берсенева

Нью-Йорк – Москва – Любовь #1

Американская артистка Алиса приезжает в Москву для участия в российской постановке известного бродвейского мюзикла. Сравнение Москвы и Нью-Йорка сначала напоминает ей игру «Найди десять различий». Но вскоре Алисина жизнь выходит за рамки игры на сцене и развлечений богемы. Слишком много разнообразных чувств вмещает в себя Москва… Алиса догадывается, что таким же «вместилищем чувств» был этот город и в 20-е годы, на которые пришлась московская молодость ее бабушки. Рассказы бабушки о ее жизни, яркой как фейерверк, Алиса то и дело вспоминает в России. Ведь и с ней здесь начинают происходить события, которые полностью меняют ее жизнь…

Анна Берсенева

Нью-Йорк – Москва – Любовь

Часть I

Глава 1

– Моя бабушка сложила все свои вещи в два пледа и связала, и у нее получилось два больших узла. Они были тяжелые, и она не могла поднять оба сразу. Поэтому бабушка взяла только один узел, а второй бросила в окно. И уже потом подобрала его на клумбе, чтобы положить в такси.

Алиса с удовольствием втянула в себя сизый сигаретный дым. Ей нравилось, что в комнате так накурено.

– Почему?

Марат выпустил в тусклое пространство очередную дымную порцию. Наверное, он заметил, что Алисе это нравится; во всяком случае, усмехнулся. И, наверное, решил: это оттого, что ей надоела правильно устроенная американская жизнь. И еще решил: что ж, пусть наслаждается неправильной. Чего-чего, а всяческих неправильностей в России достаточно.

Алису сердило, что он так легко догадывается о ее мыслях и чувствах. Как это сказать – читает в ней, как в открытой книге? Ну да, читает, и даже не особенно вчитывается, потому что и мысли, и чувства ее очень незамысловаты.

«Ну и пусть!» – сердито подумала она.

– Почему? – повторил он. – Почему твоя бабушка бросила узел в окно?

– Потому что она не могла поднять два узла одновременно, – повторила Алиса.

– Нет, я в том смысле – почему еще раз за вторым узлом не поднялась? Боялась, такси уедет?

Алиса удивленно посмотрела на Марата. Ну вот, считает ее примитивной американкой, а сам не понимает таких простых вещей!

– Потому что моя бабушка не хотела еще раз войти в дом человека, которого она не любила, – разъяснила Алиса. – Она решила уйти немедленно. Один раз и

навсегда.

– Импульсивная у тебя была бабушка, – усмехнулся Марат. – Видно, сначала делала, потом думала.

– Вряд ли. Мне никогда не казалось, что она делала что-нибудь важное, если сначала не подумала. Но, наверное, у нее был особенный способ думать – когда и думаешь, и чувствуешь одновременно.

– Откуда ты знаешь? – пожал плечами Марат.

– Я знаю по себе, – улыбнулась Алиса.

– Как ее звали?

– Эстер. Это значит – звезда.

– Ну, тогда ты и правда на нее похожа, – хмыкнул Марат. – Ты, Алиска, по всем замашкам звезда.

Комната казалась сумрачной и от густого дыма, и от того, что освещалась единственной лампочкой. Правда, на ней был абажур, но он казался Алисе ужасным: пластмассовый, плотный и пыльный, абажур скрадывал весь свет этой лампочки, и без того неяркий, превращал его в небольшое пятно на полу. Она с детства ненавидела тусклый свет, и когда стала жить отдельно от мамы и Джека, то сразу же купила в свою нью-йоркскую квартиру множество ярких ламп. Она покупала их и покупала, и остановилась, только когда соседка сказала, что по вечерам ее окна сияют так, будто в квартире пожар.

Но к комнате, в которую ее пригласил Марат, Алиса не предъявляла никаких претензий. Своего жилья в Москве у Марата не было, квартиру он снимал вместе с двумя приятелями, и то, что сегодня ему удалось добыть для встречи с Алисой эту вот скудную комнату в коммуналке, можно было считать удачей.

К тому же он купил в честь их встречи продукты – она видела у него в руках пакет, из которого торчала яркая коробка с замороженными блинчиками, – и это было очень трогательно. Алиса уже поняла, что русские мужчины отводят возню

с едой женщинам, такое уж у них сознание, и если они все же берут на себя кухонные заботы, это означает, что женщина им очень нравится и они хотят сделать ей приятное.

Наверное, у нее тоже оказалось русское сознание, потому что такое странное отношение к женщинам и к кухне было ей понятно. Хотя и очень отвлеченно понятно – сама она относилась к этому, конечно, иначе.

Марат открыл створку окна и достал шампанское, которое полчаса назад поставил охлаждаться между рамами. Дом был старый, с широкими стенами, и бутылка легко помещалась между рамами его окон, а на подоконнике можно было сидеть и даже спать. Алиса как раз и сидела сейчас на подоконнике – не того окна, в котором стояло шампанское, а другого, трехстворчатого, венецианского. Сидеть на подоконнике нравилось ей так же, как смотреть на сизый сигаретный дым в комнате. И даже больше ей это нравилось, чем дым. Ей вообще нравилась Москва, а точнее, она как-то очень… правильно чувствовала себя в Москве, и это ее немного пугало, потому что в Нью-Йорке она давно уже заметила: все, кто говорит, что мог бы жить в Москве, обязательно немного сумасшедшие или хотя бы люди со странностями – с тараканами в голове, как здесь это называют. В Москве уже лет десять как установилась бурная жизнь – бизнеса, искусства, просто общения, – поэтому туда постоянно ездили какие-нибудь Алисины нью-йоркские знакомые, и все в один голос говорили, что это чрезвычайно интересный город. Но при этом все с облегчением вздыхали оттого, что время этого города в их жизни прошло. Те же, кто утверждал, что в этом городе не только можно, но даже очень хорошо жить, были сумасшедшие, и это было известно о них задолго до того, как они съездили в Москву.

Но себя-то Алиса сумасшедшей не считала, она даже странностей в себе никаких не находила – просто до неприличия, человеку искусства невозможно быть таким нормальным! – поэтому то состояние правильного счастья, которое охватило ее в Москве, казалось ей немножко пугающим.

Сухо хлопнула пробка, зашипело шампанское. Алиса увидела, что Марат наливает его в бокалы, которые купил вместе с продуктами. Это были настоящие бокалы для шампанского, высокие и узкие. Еще она увидела, что на столе стоит пластмассовая коробочка с клубникой. Алиса едва сдержала улыбку. Смешной Марат – думает, если она американка, то ей обязательно нужна в декабре клубника. А ей больше всего нравится жареная картошка, не фри, а такая, какую жарят только здесь, – на сливочном масле, и чтобы снаружи

хрустящая корочка, а внутри исходит паром рассыпчатая мякоть. Алиса ела такую картошку только один раз, когда ночевала у Марины, ее поджарила утром Маринина мама; ничего более вкусного ей в Москве есть не приходилось.

Но сообщать Марату о своих предпочтениях она, конечно, не стала. Они в чужой квартире, и неприлично давать человеку понять, что ты не оценила его стараний, да и вряд ли он умеет жарить картошку, и вообще он очень трогательный.

– Ну что, выпьем? – сказал Марат. – За ваше прошедшее Рождество.

– Выпьем, – кивнула Алиса. – За наш общий скорый Новый год.

Шампанское было такое, как надо, – брют, и она пожалела об этом так же, как и о клубнике, которую Марат совершенно напрасно купил. Ей нравилось такое шампанское, как не надо, – его здесь называли полусладким. Не так, конечно, нравилось, как жареная картошка, но все-таки.

– У нас будет общий Новый год? – с легким придыханием переспросил Марат.

– Ну конечно. – Алиса удивилась неожиданным интонациям его голоса. – Ведь календарь совпадает. Значит, американский Новый год будет в один день с русским. Только отличится на несколько часов.

– И где ты встречаешь американский Новый год?

– Я еще не знаю, – улыбнулась Алиса. – Ты знаешь, я первый раз в жизни двадцать седьмого декабря не знаю, где буду встречать Новый год!

– И тебе это, конечно, нравится, – хмыкнул Марат.

Она уже заметила: его слегка раздражает то, что ей нравятся такие вещи, которые не должны нравиться нормальному человеку. Но скрывать свой интерес к таким вещам Алиса не привыкла. Да она и не понимала, зачем, собственно, должна его скрывать от Марата. Он ей нравился, и она видела, что нравится ему тоже.

– Я просто еще не знаю, где буду встречать Новый год, – повторила она.

– А ты не хочешь встретить его со мной?

Алиса хорошо говорила по-русски, все в Москве удивлялись этому, будто невесть какому чуду, а у нее просто было хорошее языковое чутье, хорошая память на все, что происходило в детстве, и год общения с одним русским семейством в Нью-Йорке. Этого оказалось достаточно, чтобы понимать не только смысл того, что говорится по-русски, но и оттенки этого смысла. И все-таки некоторые оттенки ставили ее в тупик – она не понимала их направленности. Зачем, например, спрашивать, что она не хочет сделать? Не проще ли спросить, что она хочет?

– Ты предполагаешь, что я не хочу встречать с тобой Новый год? – на всякий случай уточнила она.

– Я не знаю.

– Я хочу, – кивнула Алиса. – Если ты меня пригласишь, то я обрадуюсь.

– Ты, может, думаешь, я тебя в компанию зову?

В его голосе снова послышалось придыхание. И смотрел он на нее с каким-то ожидающим волнением.

– Но как я могу это думать? Ведь я ничего еще не знаю, – пожала плечами Алиса. – Ты пригласил меня только что. Это будет компания?

– Нет. Это буду я. И ты, если придешь.

Теперь его голос стал возвышенным. Или даже патетическим, Алиса не поняла. Во всяком случае, его голос стал каким-то необыденным, и ей было приятно, что он говорит о встрече с нею Нового года как о выдающемся событии.

– Я приду, – кивнула Алиса. – Ты скажешь, куда?

– Скажу. Сюда. Если хочешь, можешь вообще отсюда не уходить. Это теперь моя комната, и ты можешь… Я буду счастлив, если ты останешься.

Алиса молчала. Она вслушивалась в его молчание, но ничего не могла расслышать. Марат смотрел на нее чуть исподлобья, и она не понимала, какое чувство прячется в раскосом блеске его глаз.

– Я не знаю, буду ли счастлива, – сказала она. – Но я попробую остаться.

Алису разбудила луна – взошла и коснулась ярким серебром ее закрытых глаз, и так сильно коснулась, будто под веки проникла. Конечно, она сразу открыла глаза.

Минуту, не меньше, ее занимал только лунный свет – такой он был всепоглощающий, такой завораживающий. К тому же стекла во всех трех створках венецианского окна были волнистые от старости, и лунный свет делал их похожими на реки.

Алиса так глубоко погрузилась в этот странный переливчатый свет, что не сразу вспомнила, где находится и, главное, с кем она находится в этой комнате с венецианским окном.

Наконец чувство реальности вернулось к ней. Она повернулась на бок, оперлась локтем о подушку и посмотрела на Марата. Он спал, и она могла сколько угодно разглядывать его лицо. Оно всегда казалось ей очень интересным, даже красивым казалось ей это лицо, но разглядывать его в упор, когда Марат не спал, было все же неловко. А спящим она видела его сейчас впервые.

Его лицо было суровым. Это Алиса заметила давно, да практически сразу заметила, как только они познакомились. Но днем суровость все же была не так отчетлива, потому что Марат разговаривал, или смеялся, или сердился и ругался, и от всего этого его лицо было подвижным, переменчивым. А сейчас в нем проступило главное.

«Как у древнего воина», – почти с опаской подумала Алиса.

Этот легкий холодок – даже не страха, а какого-то отзвука, отблеска страха – будоражил, как глоток ледяного шампанского. Она вспомнила, какие сильные, просто стальные у него пальцы; прошло, наверное, часа три с тех пор, как он сжимал ее руки – ну да, раз взошла луна, значит, не меньше трех часов прошло, – а запястья до сих пор ноют.

«Может, даже синяки остались», – подумала Алиса.

Он не был с нею груб, нисколько. Но он был порывист, и ему трудно было отмерять свою страсть порциями. А разве ей нужны были порции страсти? Совсем наоборот! Алиса вспомнила, как в первые мгновения близости ей показалось, что он не просто проникает в нее, а пронзает ее насквозь. Именно это слово пришло ей в голову – пронзает. Оно было из того же ряда, что придыхание в его голосе, и ожидающий блеск его раскосых глаз, и патетика, с которой он предложил ей остаться с ним в этой комнате… Оно было сродни вот этой воинской суровости, которой неоткуда было взяться у худощавого, даже несколько субтильного звукорежиссера, но которая тем не менее проступила вдруг в чертах его лица так отчетливо, как будто составляла самую сущность его натуры.

В комнате было жарко, поэтому Марат лежал поверх одеяла голый, и Алиса могла без помех рассматривать не только его лицо, но и все тело. Даже в серебрящем все вокруг лунном свете оно казалось смуглым – не до черноты, а совсем чуть-чуть. Это очень шло к его раскосым глазам, сейчас закрытым, и к черным волосам, которые от жары прилипли ко лбу резкими прямыми линиями. Алиса только теперь поняла, почему ему так идет смуглота. Только теперь, когда разглядела в нем вот эту необъяснимую сущность древнего воина.

Ей вообще многое стало понятнее в нем теперь. Даже не понятнее, а как-то… Она стала точнее соотносить с ним свои действия – так, наверное. Например, сейчас она знала, что может рассматривать его сколько угодно – он не почувствует ее взгляда, потому что просто не обращает внимания на такие вещи. Ни во сне, ни наяву. И на это не надо обижаться, это не невнимание к ней, а то, что есть у него внутри и что она очень приблизительно называет суровостью.

Вообще-то Алисе хотелось разбудить Марата: при взгляде на его тело, все сплетенное из узких сильных мышц, она почувствовала то же волнение, которое чувствовала три часа назад, когда первая близость с ним только предстояла.

Теперь ей хотелось повторить все еще раз, и это желание повторной близости было сильнее, чем желание близости первой.

«Я уже по-русски это называю? – удивленно подумала она. – Почему близость, почему не секс?»

А не знала она, почему! Москва меняла сознание, и оставалось только подчиняться этим переменам. Тем более что это было даже интересно.

Правда, удивляться неожиданно всплывшему в сознании слову все же стоило – Алиса понимала, что оно не подходит к их с Маратом отношениям. В конце концов, эти отношения еще только-только наметились, они пока держатся лишь на взаимном влечении и могут оказаться чистой случайностью… Но влечение было сильным, это Алиса чувствовала сейчас с особенной ясностью.

Она осторожно дотронулась до Маратова плеча. Плечо было горячим, у Алисы оно, наверное, было бы таким, только если бы она металась в жару. А он просто спал – дышал ровно и глубоко и даже не пошевелился от ее прикосновения.

Алисе было два года, когда бабушка объяснила ей, что будить спящего человека нельзя. То есть она даже не объясняла ей это, а просто сказала: нельзя, и все. Это теперь Алиса понимала, что бабушка повела себя с нею совсем не по-американски – по-американски надо было подробно разъяснить ребенку основания любого взрослого требования, – а тогда бабушкин необъясненный запрет показался ей вполне достаточным. Вернее, он показался ей таким же обоснованным, как и все, что делала бабушка. Эта обоснованность бабушкиных поступков и слов покоилась не на логике и не на самоуверенности. А на чем, Алиса не знала.

Во всяком случае, она даже в детстве не будила никого и никогда, это было для нее непреложно. Но ведь и такого сильного желания, которое будоражило ее при взгляде на Марата, она никогда еще не испытывала. Невозможно было считать настоящим желанием ни полудетское любопытство, которым сопровождался ее первый секс с одноклассником, ни удобную в своей рациональности связь с партнером по первому мюзиклу, в котором она играла на Бродвее… Во всех этих прежних притяжениях не было силы, а теперь эта сила была, и по сравнению с ней оказались слишком слабыми даже те убеждения, которые жили в самой глубине Алисиного подсознания.

Алиса провела по горячему Маратову плечу, по ключице, задержала пальцы во впадине под горлом. Он вздрогнул и открыл глаза. В них совсем не было обычной растерянности сонного человека, хотя Алиса только что видела, каким глубоким был его сон. Но вот он открыл глаза и сразу готов к чему-то – к действию, к желанию. Готов ответить на тягу, которая, наверное, так сильна у Алисы внутри, что чувствуется даже в кончиках ее пальцев.

Марат взял ее за подмышки, потянул вверх, положил животом на свой гладкий, вздрагивающий невидимыми мышцами живот и поцеловал, прикусив зубами, в подбородок. Его руки с неторопливым, тягучим бесстыдством легли ей на спину, скользнули ниже… Алиса почувствовала, как ее желание сливается с его желанием. Нет, не сливается, а просто вливается в него, растворяется в нем, когда он прижимает все ее тело к себе, и даже не ладонями прижимает, а только стальными своими пальцами.

– Снова хочешь? – спросил он. Голос прозвучал в тишине комнаты громко и хрипло. – Я тоже. Ну давай.

«У меня просто давно не было мужчины, – почти с испугом подумала Алиса. – Я рассталась с Майклом полгода назад. Это много».

Она понимала, откуда в ней этот испуг, но ничего не могла с ним поделать. Слишком ее тянуло к этому мужчине с горячим суровым телом, слишком большое удовольствие доставляло его сильное, до боли, прикосновение. В такой тяге была зависимость, а зависимости она не терпела с детства.

«Отпусти меня», – хотела сказать она. Но вместо этого сказала:

– Очень хочу. Давай.

И выгнулась над ним, чувствуя, как он врастает в нее снизу. Как будто мощный ствол, способный к необыкновенному, стремительному, мгновенному росту, вдруг поднимает ее на себя, и этот подъем, этот рост, это живое движение приятны ей до стона, до крика, до темноты в глазах.

Глава 2

Алиса понятия не имела, откуда у нее взялась такая удивительная морозоустойчивость. Чтобы от бабушки – едва ли. Все-таки Эстер провела в морозной Москве только первые двадцать лет своей жизни. А города, в которых прошла вся ее остальная долгая жизнь, не являлись полюсами холода.

Так что ссылка на бабушку была, скорее всего, безосновательна. Но мороз, которым была скована Москва, все-таки оказался Алисе не страшен. Ей было весело от мороза. И кто бы ей объяснил, почему?

Единственное, что было неудобно в московских холодах, это необходимость долго разогревать мышцы перед утренней разминкой. Ну, и голос, конечно, – голос следовало беречь как зеницу ока, и даже больше, чем эту неизвестно где находящуюся зеницу, потому что голос составлял половину ее профессии, если не больше.

Сегодня первой была вокальная разминка; это позволяло вздохнуть с облегчением. После ночи с Маратом все тело ныло, почти болело, будто после жесткой спортивной тренировки, и Алиса рада была, что у нее есть время расходиться, набраться сил для предстоящей работы.

Заглянув в зал, она привычно подняла взгляд на стеклянную кабинку, где за пультом сидел Марат. Не один, конечно, сидел – он не был, да и не мог быть главным звукорежиссером дорогостоящего мюзикла. Алису он не заметил: слушал, что говорит ему главный звукореж, Алисин старый приятель Фрэнк Дилан. По большому счету, и Фрэнк не должен был бы ставить звук на таком дорогом проекте, каким являлась московская версия мюзикла «Главная улица»; не того уровня он был специалист. Но ведь и Алиса не входила в число главных бродвейских профи. Она была просто способная молодая актриса, в некотором роде восходящая звезда, которая, возможно, когда-нибудь выбьется на главные роли. А возможно, не выбьется. В жизни-то человеческие истории складываются иначе, чем в сентиментальном мюзикловом сюжете: на всех Золушек не хватает не только принцев, но и работы.

О распределении принцев Алиса, правда, не размышляла, но вот о распределении ролей размышляла немало. А потому сразу приняла предложение приехать на год в Москву. Конечно, ей хотелось стать звездой не вообще где-нибудь, а именно на Бродвее, и честолюбия было ей отмерено

сполна. Но оно было ей отмерено вместе со здравым смыслом, точнее, со здравым чувством реальности. Так что она уехала в Москву без колебаний – в основном из-за главной роли, отчасти из-за хороших денег, которые за эту главную роль предлагались, и отчасти из любопытства.

И из-за Марата, как теперь выясняется. Впрочем, относиться к своей встрече с Маратом как к предопределению она все-таки была не склонна. Пока не склонна.

Алиса прошла по длинному коридору – опять тусклый свет! – к себе в гримерку и сразу включила все многочисленные лампы, которыми эта гримерка освещалась. Яркий свет был специально оговорен в ее контракте.

«Раз уж я здесь звезда, – думала Алиса каждый раз, когда включала его, – могут же у меня быть хоть какие-нибудь капризы. Даже должны быть. У Юла Бриннера стены в гримерке укрепляли, чтобы гамак ему повесить!»

Про гамак, который требовал вешать в своей гримерке звезда Бродвея и Голливуда Юл Бриннер, рассказывала бабушка, у которой, оказывается, однажды случился с ним роман. Роман получился кратковременный, но бабушка вспоминала о нем с удовольствием.

– У Юла было могучее воображение, поэтому его любили женщины, – говорила она Алисе.

– А при чем воображение к любви? – спрашивала Алиса; ей было тогда десять лет.

– При том, что он смотрел на женщину так, что она понимала: в его сознании – только она, она заполняет все его воображение, и, даже когда это изменится, она все-таки останется в нем навеки.

– Навеки? – недоверчиво переспрашивала Алиса.

– Да. Называй это как хочешь – могучее воображение, способность к концентрации. Но это то, что делает артиста великим, а мужчину неотразимым.

Алиса до сих пор помнила, как глубоко вздохнула при этих бабушкиных словах.

– Ты почему вздыхаешь, солнышко? – засмеялась та.

– Потому что я не знаю таких мужчин. – Теперь Алиса не только вздохнула, но еще и шмыгнула носом. – И никогда не узнаю. У нас же на улице таких нету.

«Если бы бабушка была молодая, она бы меня с ними познакомила, – подумала Алиса при этом. – Она ведь же их много знала, наверное. Но она уже очень-очень старая, и те мужчины все умерли».

Алиса подумала это по-русски; с бабушкой она всегда не только говорила, но и думала по-русски. Наверное, поэтому, когда Алиса выросла и стала говорить и думать по-английски, ее мышление осталось странным. Во всяком случае, так считала мама.

– Мир шире, чем наша улица, – сказала бабушка.

– Ага, и везде есть такие мужчины, только на нашей улице почему-то нету, – съязвила Алиса.

– Ты умница, правильно мыслишь! – снова засмеялась бабушка; у нее был совсем не старческий смех, он рождался глубоко в груди, и поэтому сначала был низковатый, а потом взлетал вверх и звенел, как черненые серебряные рюмочки, из которых в ее доме пили водку. – Не стоит думать, что все необыкновенное происходит там, где тебя нет. Оно должно происходить там, где ты есть, а если оно там не происходит, значит, надо разбираться с собой, а не со своей улицей.

– А твое необыкновенное всегда происходило там, где ты была? – уточнила Алиса.

– Всегда, – кивнула бабушка. – Я умела находить на свою… В общем, у меня не было недостатка в приключениях.

– Повезло тебе, – вздохнула Алиса.

– Если поймешь, что ведет человека по жизни, то и тебе повезет.

– А что его ведет? – заинтересовалась Алиса.

Она очень хотела, чтобы ей повезло в жизни на приключения не меньше, чем бабушке!

– Я же сказала: если поймешь. Но только если сама поймешь, без подсказок. – И добавила с усмешкой: – Успехов тебе в этом начинании.

Эстер была насмешлива со всеми, даже со своей любимой внучкой. Собственно, Алиса была не только любимой, но и единственной ее внучкой. Бабушка даже сама придумала ей имя – в память актрисы, с которой дружила в юности, когда еще жила в Москве. Актриса эта, судя по фамилии – Коонен, наверное, была шведка или финка, но бабушка называла ее великой русской актрисой. И Алиса никогда не сомневалась, что так оно и есть, и гордилась своим именем. Она даже просила друзей не называть себя Элис, как следовало бы по-английски. Она для всех была Алиса.

Алиса тряхнула головой, освобождаясь от воспоминаний. Вообще-то она любила вспоминать бабушку и помнила ее очень хорошо, хотя та умерла, когда Алисе было всего тринадцать лет. Но при всей своей ясности воспоминания о бабушке почему-то требовали сильной душевной сосредоточенности, а ей сейчас надо было сосредоточиться только на предстоящей вокальной разминке. А потом – на танцевальной разминке, а потом – на степ-разминке, а потом – на общей репетиции… А вечером надо было думать только о спектакле, и думать о нем надо было всем телом; так Алиса это называла. Иначе его просто физически невозможно было сыграть так, чтобы он стал праздником, каким задумывался двадцать лет назад в Нью-Йорке и каким становился из вечера в вечер на множестве мировых сцен; вот теперь и на московской. История про девушку из провинции, которая приехала в Нью-Йорк и стала великой актрисой, трогала сердца с неизменностью, не знающей географических отличий.

Алиса нарушила режим, позволив себе не выспаться ночью, хотя бы и после вчерашнего выходного, потому и лезли теперь в голову отвлекающие от работы мысли, а в душу – будоражащие воспоминания.

Она закрыла глаза, посидела так с минуту, потом открыла глаза и сразу увидела себя в зеркале. Это была ее собственная, специально придуманная уловка: открыв глаза перед зеркалом, в течение нескольких секунд можно было видеть себя в нем не изнутри, как обычно себя только и видишь в зеркале, а словно бы со стороны. И этот краткий взгляд со стороны выявлял все недостатки, которые

следовало немедленно устранить.

Но сейчас Алиса никаких существенных недостатков не заметила. В глазах у нее стояло выражение сосредоточенности и нервности, а значит, она готова была работать.

И она выключила свет и пошла работать.

– Я думал, ты скажешь про зубную щетку.

Глаза Марата блестели в полумраке темно и ярко. Как могут сочетаться тьма и яркий блеск в одних глазах, Алиса не понимала. Но в его глазах это было именно так.

– А что я должна была сказать про зубную щетку?

Все-таки она понимала не все оттенки его слов – не все их смыслы. Но это не раздражало ее, а, наоборот, будоражило, заводило загадкой.

– Ну, что у тебя нет с собой зубной щетки, и поэтому ты не пойдешь ко мне ночевать.

– А!.. – засмеялась Алиса. – Да, я об этом подумала. Но только потом, когда уже была у тебя. А еще потом – опять забыла.

Может быть, она забыла про зубную щетку только от усталости. Когда она выходила вечером из театра, то чувствовала во всем теле, и в голове тоже, такую опустошенность, в которой не было никаких мыслей и быть не могло. И когда Марат неслышно подошел к ней сзади и коснулся ее плеча, она восприняла это почти с безразличием. Ей показалось, что так оно и должно быть, и даже – что так оно было всегда. Это уже потом, в подъезде старого дома в Кривоколенном переулке, у лифта, когда Марат вдруг обнял ее, повернул к себе лицом и стал целовать с такой страстью, будто они не ехали только что вместе в машине, совершенно спокойные, будто не шли к подъезду, никуда не торопясь, – только тогда Алиса почувствовала, что сердце у нее забилось быстрее, пустота улетучилась из головы как ветерок, потом улетучилась и из всего тела, и все

тело мгновенно налилось той же страстью, которая была в Маратовом поцелуе. Пришел вызванный ими лифт, постоял, ожидая, на первом этаже, не дождался, когда же они перестанут целоваться и откроют сетчатую дверь, и уехал снова, к более разумным людям. А они целовались, и Алиса совсем не думала о том, что едет ночевать в дом, где у нее нет зубной щетки.

И вот теперь оказалось, что Марат ожидал от нее этих мыслей. Ей были немного странны такие трезвые его ожидания – Марат казался ей гораздо более самозабвенным, чем даже она сама. Во всяком случае, когда он целовал ее и губы у него были горячи, а ладони, сжимающие ее плечи, наоборот, холодны как лед.

«Как уместны его страсти, оказывается!» – подумала Алиса.

И, подумав так, поймала себя на совершенно бабушкиной насмешливости.

Она выскользнула у Марата из-под руки, встала с кровати и, пройдя через полупустую комнату, забралась на подоконник. Все тело у нее горело, ей хотелось охладиться, а подоконник, выкрашенный масляной краской, как раз и был прохладным, как река.

– Жалко, что я не художник, – сказал Марат, глядя на Алису.

Он лежал поверх одеяла, положив руки под голову, и блеск в его глазах был так ярок, что Алисе казалось, из его глаз тянутся к подоконнику ослепительные лучи. Хотя, наверное, просто уличный свет падал из окна и отражался в его глазах; отсюда, с подоконника, это было хорошо видно.

– Почему тебе этого жалко? – спросила она.

– А я б тебя нарисовал. Вот так, голую на подоконнике. Или лучше из металла отлил. Как скульптуру.

По краткости, почти рублености его фраз Алиса поняла, что он снова хочет ее. Он был неутомим, это она поняла еще раньше. Но сидение на холодном подоконнике отрезвило ее. Ночные страсти – прекрасная вещь, но работу никто не отменял. А если она еще и завтра не выспится, то таких сил, которые

необходимы для ее работы, у нее просто не останется.

– Из металла в самом деле лучше, – сказала она. – Ты знаешь, был такой русский дирижер, которого звали Кусевицкий?

– Не знаю. – Марат повел узким плечом.

Это было фантастически красиво.

– Он эмигрировал в Америку. Давно, еще перед Второй мировой войной. И создал Бостонский симфонический оркестр. А моя бабушка познакомилась с ним в Нью-Йорке. Она тогда только что приехала и спросила его: «Как мне жить в Америке, на что ориентироваться?» А он ответил: «Эстер, чтобы жить в Америке, надо только одно – иметь гвозди в голове». Она тогда на него очень рассердилась.

– Почему?

– Потому что тогда такой ответ показался ей неопределенным. Это уже потом она поняла, что больше ничего ответить и невозможно. В общем, – улыбнулась Алиса, – мою фигуру можно отлить из металла. По логике вещей, у меня ведь должны быть гвозди в голове, раз я американка.

– А у меня сейчас между ног гвоздь встанет, – хрипло произнес Марат. – Без всякой логики. Иди сюда.

– Я иду, – засмеялась Алиса. – Но я иду к тебе только спать. Завтра я должна быть выспавшаяся и отдохнувшая, потому что должна работать. Вот тебе вместо зубной щетки! – съязвила она.

Неизвестно, расслышал ли Марат ее язвительность. Во всяком случае, когда она легла рядом с ним и прижалась к его горячему, особенно после холодного подоконника, боку, он не попытался будоражить ее – ни хриплым желанием в голосе, ни страстью во всем теле.

– Ты, главное, завтра опять сюда приходи, – шепнул он. – И зубную щетку приноси. Чтоб совсем про нее не думать.

Глава 3

«Какие странные отношения! – думала Алиса, глядя в искрящиеся узоры на замерзшем окне. – Но в чем же странность? Ну, я думала, что влюбилась в него. Теперь думаю – нет, наверное, все-таки не влюбилась. Хотя с чем я сравниваю? Я ведь никогда не была влюблена, и с Майклом у меня все было точно так же, как теперь с Маратом. Мы жили вместе, потому что нам этого хотелось, мы трезво оценивали друг друга и свои отношения. А когда нам перестало хотеться жить вместе, мы расстались. И теперь мы тоже…»

Но договорить эту фразу до конца, хотя бы и не вслух, она не смогла. При мысли о том, что и теперь будет все то же: пройдет какое-то время, и их с Маратом отношения изживут себя, и они расстанутся, – при этой мысли Алисе становилось не по себе. Но почему ее, не влюбленную, не потерявшую голову, так не радует, почти пугает обычная логика человеческих отношений, – этого она не понимала.

Она жила с Маратом почти полтора месяца, но так и не могла понять, что же привязывает их друг к другу. Она не могла понять этого ни для себя, ни для него, и от этого двойного непонимания странность их отношений только усиливалась.

Он ни разу не сказал, что любит ее, но в его поцелуях, объятиях, в нервной силе его тела было больше любовного пыла, чем могло быть в любых словах. Словами Алисе можно было солгать, а телом нельзя, потому что она чувствовала в любом теле – неважно, своем или чужом – то главное, что связывало его с душою. Если бы она вдруг вздумала объяснять кому-нибудь, как именно чувствует это, то объяснения наверняка прозвучали бы смешно и, наверное, старомодно. Но она, конечно, ничего такого никому не объясняла, а просто знала: за то, что она стала актрисой, ей следует благодарить только вот это свое природное свойство – отчетливое ощущение связи между телом и душой. Вернее, ей следует благодарить тех, кто ее этим природным свойством наделил. То есть опять-таки, наверное, бабушку Эстер, потому что в маме с ее вопиющей, удручающей погруженностью в обыденное и только в обыденное никакого особого чутья – ни телесного, ни душевного – Алиса не наблюдала. Она знала, что мама просто боится иметь такое чутье – боится жизни. А бабушка жизни не боялась.

Конечно, все это были очень смутные материи, и, может, в них вообще не следовало вдаваться. Но что тяга к ней Марата есть тяга не только физическая, это Алиса знала точно.

А странность была во всем. Даже в том, что их роман, который должен был бы привлечь внимание всей труппы – все-таки это был роман примы, а прима в любом театре находится в фокусе всеобщего внимания, – не только не привлек ничьего внимания, но даже не стал предметом заурядднейших сплетен.

Однажды Алиса осторожно поинтересовалась, не кажется ли это странным Марату. Это было за завтраком в их общий выходной. Собственно, один выходной в неделю был общим не только у них двоих: в этот день мюзикл не шел, и отдыхали все.

– Не кажется, – выслушав ее не вполне внятно высказанный вопрос, спокойно ответил Марат.

Не дождавшись объяснения причин, она спросила:

– Но почему? У тебя репутация донжуана?

– Никакой у меня нету репутации. Меня в Москве вообще никто не знает. Я полгода назад из Уфы приехал.

– Но как же не знает? – возразила Алиса. – Если тебя пригласили для участия в проекте, значит, тебя знают и у тебя есть репутация.

– Цена у меня есть, а не репутация, – усмехнулся он. – Невысокая цена. Сейчас все продюсеры так делают, хоть для мюзиклов, хоть для сериалов. Набирают народ в провинции, хорошая экономия выходит. Осветителей и то выгоднее из какого-нибудь Мухосранска привезти, чем в Москве нанять.

– Почему именно из Мухосранска? – не поняла Алиса. – Где находится этот город?

– Ну, из Калуги, из Ярославля, неважно. Из любой дыры. Главное, чтоб там ни работы, ни перспектив не было, тогда как миленькие поедут. За копейки. За

центы то есть, – усмехнулся он.

Глаза его блеснули при этой усмешке совсем иначе, чем обычно, – угрожающе и… потусторонне как-то. Как у волка, или тигра, или еще какого-нибудь опасного зверя, который много лет живет среди людей, но природа его от этого совсем не меняется. И Алиса вдруг подумала, что странность их с Маратом отношений, та странность, которую она так отчетливо чувствует, происходит даже не от самих отношений, а от загадки, которая есть у него внутри.

Наверное, глаза у нее как-то по-особенному затуманились или, наоборот, засверкали от этой мысли, потому что взгляд Марата стал пристальным.

– Ты меня не обдумывай, – сказал он; Алиса не поняла, чего в его голосе больше, проницательности или угрозы. – Ни к чему это.

– Я не обдумываю тебя, – смутилась она. – Я только пытаюсь понять…

Но ему было неинтересно, что именно она пытается понять. Да и почему, собственно, это должно было его интересовать? Он взял ее за руку, поставил на стол чашку, которую она держала, и притянул Алису к себе. Он притянул ее к себе так, что она встала, обошла стол и села к нему на колени. Но и то сказать: а что, сопротивляться надо было? Ей совсем не хотелось сопротивляться его желанию.

– Скучаю по тебе, – негромко сказал Марат.

От уже знакомого придыхания в его голосе у Алисы занялось собственное дыхание.

– Но мы с тобой вместе живем, – все-таки напомнила она.

– Ага, как роботы. Как роботы мы с тобой живем. Работа – отдых – работа. Как автоматы.

– Но как же… – начала было она.

И не успела договорить: Марат поцеловал ее в губы – Алиса почувствовала, как его губы становятся горячими прямо во время поцелуя, – и расстегнул на ней джинсы.

– Сними, – попросил он, распахивая полы своего халата, под которым он был совсем голый. – Что ж ты оделась-то чуть свет?

Алиса всегда одевалась сразу, как только просыпалась. Да и как иначе она пошла бы умываться в общую ванную, в ночной рубашке, что ли? Жильцы коммуналки были немногочислены и их с Маратом жизнью не интересовались, но все-таки они были, и они были посторонними людьми. Такое тесное житье с посторонними людьми казалось Алисе диким, и она собиралась предложить Марату снять вдвоем квартиру, вот как раз сегодня хотела ему это предложить… Но сейчас все мысли и планы вылетели у нее из головы.

Он никогда не предлагал ей во время близости необычных, требующих особого умения и напряжения поз, якобы взятых из каких-нибудь древних книг и обещающих волшебное наслаждение; говорил, что акробатики ей и на сцене хватает, и это было правдой. Но в самых обычных позах – вот как сейчас, когда она сидела у него на коленях, сжимая своими коленями его бедра, – он доставлял ей столько удовольствия, сколько она не испытывала никогда, ни с одним из своих прежних мужчин. Да в такие минуты, как сейчас, ей даже и не верилось, что у нее прежде были какие-то мужчины…

– Ты сладостный, – шепнула Алиса, когда эти минуты кончились его бурными судорогами и одновременно пульсирующим пожаром в ее теле. – Я смешно сказала? – догадалась она.

– Ну да, немного, – улыбнулся Марат. – Как в книжке. Типа как у Пушкина. Но все равно приятно. Приятно, что тебе приятное сделал, – пояснил он. – Ты ж приятно кончила, а?

– Да, – кивнула Алиса.

Как ни хорошо она говорила по-русски, но правильно обозначать свои чувства словами у нее получалось не всегда.

– Ты вроде пойти куда-то хотела? Начала говорить, а я перебил, – напомнил Марат.

Перед тем как она стала расспрашивать его о странности их отношений, Алиса говорила, что хотела бы сегодня поискать тот дом, в котором ее бабушка жила в Москве. Вообще-то странно было, что она собралась это сделать только сейчас: адрес был ей точно известен еще в Америке, и, скорее всего, дом этот стоял на своем месте до сих пор.

– Петровка и Столешников переулок – это далеко? – спросила Алиса.

– Да вроде бы нет. А что, тряпки хочешь посмотреть? – удивился Марат. – Там магазинов много, но ты же вроде не по этой части.

Алиса в самом деле была равнодушна к тому, что он называл тряпками, то есть к одежде. Когда-то бабушка даже ругала ее за это – говорила, что без интереса ко внешнему устройству мира нельзя стать настоящей женщиной. Но ничего не поделаешь, та часть внешнего мира, которую составляли вещи, не интересовала Алису ни в детстве, ни сейчас.

– Почему обязательно тряпки? – сказала она. – Разве там нет ничего другого? Я просто хочу погулять по этим улицам.

– Ну, пошли, – пожал плечами Марат. – А долго ты там гулять собираешься?

– Вряд ли долго, – успокоила его Алиса. – Я хочу посмотреть только один дом, это быстро.

– Тогда потом пообедать можно сходить, – предложил Марат. – С этой нашей работой потовыжимальной я тебя и в ресторан еще ни разу не приглашал.

– У нас обыкновенная работа, – пожала плечами Алиса. – В театре вся работа такая, не понимаю, чему вы так удивляетесь.

– Ну не любим мы работать, – усмехнулся Марат. – Мы зато жить любим. А тебе же это в нас и нравится.

В отличие от Алисы, он обозначал свои чувства и мысли с абсолютной словесной четкостью. Вот как сейчас – Алиса даже засмеялась исчерпывающей ясности его определения работы и жизни.

Она составила чашки на край стола – не хотелось идти на кухню, из которой доносились голоса соседей, – и открыла шкаф.

– Теплее одевайся, – предупредил Марат. – Хотя не холодно вообще-то. Тухлая в этом году зима.

Верхнюю одежду тоже приходилось держать в комнате: Алисе неприятно было думать, что кто-нибудь может потрогать и даже примерить ее куртку или шарф. Сейчас она достала из шкафа и куртку, и шарф, и круглую лисью шапку с висящим сбоку рыжим хвостом. Шапку подарил Марат – сказал, что это башкирский национальный головной убор; у него тоже была такая шапка. Когда Алиса увидела ее впервые, то категорически заявила, что носить этот ужас не будет.

– Убить живую лису ради какой-то одежды! – воскликнула она.

– Брось ты, – поморщился Марат. – Лиса все равно через год-другой сдохла бы, такой ее лисий век. А шапка теплая нужна. Видишь, зима у нас какая.

Рыжий мех Алисе нравился, болтающийся на спине пушистый хвост придавал задора всем ее движениям. А зима в Москве действительно была холодная, хоть Марат и назвал ее тухлой.

«Если бы в Нью-Йорке была такая зима, все бы лисьи шапки носили», – подумала Алиса, надевая эту неприличную шапку в первый раз.

А потом она и вовсе перестала думать об отвлеченных вещах – просто смотрела на градусник, висящий за окном, и одевалась по погоде.

До Петровки они дошли пешком. Алиса предварительно сверилась с планом Москвы, который купила еще в Нью-Йорке. Марат совсем не знал города, но спрашивать дорогу у прохожих не хотел. У него просто лицо окаменело, когда однажды пришлось это сделать, и на его окаменевшем лице ясно читалось, что

он предпочел бы наброситься на этого прохожего с ножом, чем выказать перед ним свою провинциальную неосведомленность, расспрашивая, как пройти на Мясницкую. С тех пор Алиса никогда не просила его найти какую бы то ни было улицу. Да ведь и она тоже не приставала к незнакомым людям с вопросами, которые можно выяснить самостоятельно, и ориентировалась в Москве по плану города. Но она поступала так не потому, что боялась показаться провинциалкой, а просто потому, что даже детям известно: нельзя врываться со своими проблемами в жизнь посторонних людей.

А тот прохожий, к которому Марату пришлось тогда обратиться, вообще не знал, что в Москве есть улица Мясницкая, – сказал, что впервые про такую слышит.

Петровка оказалась совсем близко от Кривоколенного; они добрались туда за полчаса. И вот теперь шли по этой улице, поглядывая на таблички выходящих на нее переулков, чтобы не пропустить Столешников.

– Я думала, все будет иначе, – разочарованно сказала Алиса, когда они этот Столешников переулок наконец отыскали и даже прошли его насквозь, до самой Тверской, и вернулись обратно к Петровке.

– Почему? – не понял Марат.

– Мне казалось, это будут совсем особенные улицы, – объяснила она. – Какие-то очень живые, так мне казалось.

– А они мертвые, что ли? – усмехнулся он.

– Они слишком… лощеные, вот какие. И эти магазины… – Алиса кивнула на сияющую витрину бутика, в котором были выставлены вечерние платья. – То же самое есть в Нью-Йорке, в Париже, где угодно. Это просто мировые бренды, они одинаковые везде. А эти улицы всегда были такие, как нигде.

– Ты-то откуда знаешь? – пожал плечами Марат. И сразу догадался: – Тоже, что ли, бабушка рассказывала?

Алиса уже заметила, что упоминание о ее бабушке Марату почему-то неприятно. Причин такой его неприязни она не понимала, но и не особенно стремилась

понять. Она просто перестала упоминать при нем бабушку. В конце концов, он вовсе не обязан выслушивать истории из жизни ее родственников, это ее личные истории, а он… Алиса с уверенностью назвала бы его посторонним человеком, но тяга, которую она чувствовала в нем и ответ на которую чувствовала в себе… Это не могло происходить между посторонними людьми.

– Я точно это знаю, – уклонившись от прямого ответа, сказала она, – что когда-то это были совсем необычные улицы. И это был самый необычный дом в Москве.

Они стояли напротив высокого серого дома на углу Петровки и Столешникова переулка.

Глава 4

– Солнышко сияет, музыка играет… – напевала Эстер, от нетерпения не попадая ключом в замок. – Отчего ж так сердце замирает?

Кажется, такой песенки не существовало в природе, даже наверняка не существовало, она придумала ее только что, когда зеркальный лифт поднимал ее на последний этаж, или, может, когда уже шла по коридору к своей двери, последней в череде множества одинаковых дверей. Но ей казалось, что она не придумала эту песенку, а подслушала неизвестно где – выудила прямо из воздуха и попыталась напеть.

Никакой музыки в обозримом пространстве слышно не было. Но солнышко сияло со всем своим апрельским счастьем, и как только Эстер наконец справилась с замком и распахнула дверь в комнату, ей пришлось зажмуриться, так сильно и беззаботно оно ударило ей в глаза. Она захлебнулась солнечным светом, как рекою, и, не выдержав этого света, этого счастья, этого своего юного восторга, во весь голос закричала:

– Ур-ра! Весна! Я одна! Буду делать что захочу-у!!!

Эстер грохнула о пыльный пол черный гранитолевый чемодан, на чемодан бросила тяжелое, на вате, пальто и, не заперев за собою дверь, снова выбежала

в коридор. Невозможно было оставаться наедине со своим счастьем, им следовало немедленно поделиться с Ксенькой. Тем более что за месяц, который Эстер провела с родителями в Сибири, у нее накопилось множество новостей, и каждая из них будоражила сознание не меньше, чем вот эта сиюминутная новость – яркое солнце и полная свобода.

Комната, в которой жила Ксенька, находилась на противоположной стороне коридора, почти в самом его начале. Эстер пулей пролетела мимо кухни, едва не сбив с ног мадам Францеву, которая некстати вышла оттуда с кастрюлькой, и уже через мгновение забарабанила в Ксенькину дверь. Правда, она тут же сообразила, что Ксеньки может не оказаться дома – это в том случае, если ей повезло и она устроилась на службу. Ну да бабушка ее точно дома, она-то вряд ли куда-нибудь устроилась.

Но вместо шаркающих шагов Евдокии Кирилловны за дверью послышались совсем другие шаги. Прежде чем Эстер успела сообразить, кому бы они могли принадлежать, дверь открылась.

– Ух ты! – невоспитанно воскликнула она. – А вы откуда здесь взялись?

– Здравствуйте. – Мужчина, открывший дверь, смотрел спокойным, без тени смущения или любопытства взглядом. Глаза у него были поставлены так широко, что в лице из-за этого не было ничего округлого; все оно состояло из твердых линий. – Вам кого?

– Ксению Леонидовну хотелось бы увидать, – заявила Эстер. – Позволите?

Мужчина сделал полшага в сторону, и Эстер наконец разглядела Евдокию Кирилловну, которая, выйдя из-за ширм, уже спешила ей навстречу.

– Эстерочка, милая, приехала! – радостно воскликнула старушка. – Как Ксюшенька рада будет! Проходи, проходи, что же ты на пороге-то?

– Да страж не сразу ведь и пустит.

Эстер насмешливо взглянула на «стража». Тот, впрочем, ни на ее взгляд, ни на прозвище, которым она его наделила, никак не отозвался.

– Бог с тобой, детка, какой еще страж? – махнула рукой старушка. – Это мальчик приехал, Матрешин сын. Помнишь нашу Матрешу? Вот, ее старший.

Никакой Матреши Эстер, конечно, не помнила. Или нет, что-то как будто бы припоминала – какую-то плечистую бабу, которая пару лет назад жила в этой комнате вместе с Евдокией Кирилловной и Ксенькой. Ну да, ее еще представляли соседям как родственницу, но Ксенька однажды шепнула Эстер, что Матреша не родственница, а просто приехала откуда-то с Севера в Москву на заработки и живет у них на птичьих правах, потому что ее жалко. Теперь, надо полагать, жалко было уже Матрешиного сына – вот этого, с лицом то ли крестьянина, то ли римского легионера.

Но вообще-то Эстер не было никакого дела ни до Матреши, ни до ее детей.

– А Ксенька где, Евдокия Кирилловна? – нетерпеливо спросила она.

Этот простой вопрос почему-то смутил Ксенькину бабушку.

– Ты посиди, чайку попей, – каким-то торопливым тоном произнесла она. – Ксюшенька сейчас придет.

– Она на службу устроилась, да? – снова спросила Эстер.

– Да… почти… – еще торопливее пробормотала Евдокия Кирилловна. – Она на Главпочтамте. Сейчас придет.

Эстер не поняла, почему Ксенькино отсутствие окутано такой таинственностью. Она даже почти встревожилась из-за этого. Но по-настоящему встревожиться не успела: дверь открылась, и в комнату вошла Ксения. И Эстер так обрадовалась, что все неясные чувства вроде мелькнувшего было недоумения улетучились мгновенно.

– Ксенька! – завопила она. – Фея Сирени! Как же я о тебе соскучилась!

Это была всем правдам правда. Не было на свете человека, с которым Эстер чувствовала бы такую душевную близость, как с Ксенией Иорданской. За месяц, проведенный без закадычной подружки, она убедилась в этом окончательно и

бесповоротно.

– Звездочка! – обрадовалась и Ксения. – Звездочка приехала!

– Похорошела как твоя Эстерочка, верно? – сказала Евдокия Кирилловна. – Хотя уж, казалось, и хорошеть-то было некуда. Ан посвежела на сибирском воздухе, еще ярче засияла.

Эстер и сама знала, что за последний месяц очень похорошела, уж неизвестно, от свежего воздуха или просто так, от самой своей природы. В Иркутске ей почему-то было почти все равно, как она выглядит, но, едва оказавшись в Москве, она сразу же с удовольствием заметила, что глаза у нее сияют в самом деле как звезды и даже, кажется, стали еще больше, чем были, что волосы, которые прежде крутились мелкими детскими барашками, теперь распрямились и лежат волнами, и льются по щекам каштановыми локонами, да, вот именно льются, так это называлось в прочитанном недавно старомодном романтическом стихотворении, которое ей понравилось, но автора которого она по обычному своему легкомыслию позабыла.

Все это она разглядела прямо в зеркале лифта, когда, нетерпеливо притопывая, поднималась в нем на последний этаж. И, наверное, это сразу бросалось в глаза даже посторонним людям, а уж тем более людям таким непосторонним, какими были для Эстер Ксенька и ее бабушка.

– Сейчас, сейчас чай будем пить, – приговаривала Евдокия Кирилловна. – Я как знала, что ты приедешь, коржиков вчера напекла. Да нет, что это я? Ты же с дороги, голодная. Сперва пообедаем, потом чай.

– Ой, нет! – воскликнула Эстер. – Что вы, какой обед, какой чай! Мы гулять пойдем, да, Ксень? Я так по Москве соскучилась, по Петровке нашей так соскучилась в этой берлоге сибирской, просто сил нет терпеть!

– Я думала, ты сперва расскажешь, как съездила, – улыбнулась Ксения.

Улыбка у нее была мимолетная – словно ветер касался поверхности озера, но не мог встревожить его глубину.

– Да ну, что там рассказывать? – махнула рукой Эстер. – Дыра и дыра, вспомнить нечего.

– А родители как же там будут? – встревожилась Евдокия Кирилловна.

– А что им? Они же у меня идейные, – засмеялась Эстер. – Будут по заданию партии почтово-телеграфное сообщение налаживать в Иркутской губернии, чем горды и счастливы. А я здесь буду одна! – И, не выдержав восторга, который снова заполнил ее от пяток до самого носа, как только она вспомнила о своей безбрежной свободе, Эстер закружилась по комнате. Но, тут же остановившись, сказала: – Пойдем, Ксень, гулять.

– Пойдем, пойдем, – кивнула Ксения. – Нынче выходной ведь.

– Только я еще и рук не вымыла с дороги, – вспомнила Эстер. – Я побегу, а через секунду тебя внизу буду ждать. Ты поскорее собирайся.

– Да что мне собираться? – пожала плечами Ксения. – Сейчас же и спущусь.

Ванная на все комнаты была общая, но, по счастью, она оказалась свободна. Эстер торопливо умылась холодной водой, мельком подумала, что, может, надо было воду все-таки согреть, а то от холодной щеки заалели просто неприличным здоровьем, – выбежала на лестницу, три секунды подождала лифт, поняла, что придет он не скоро, потому что разъезжает между этажами, и, не в силах ждать, запрыгала по ступенькам вниз.

К большому ее недовольству, Ксения вышла из парадного не одна, а с тем самым молодым человеком, который открыл Эстер дверь. Вообще-то Эстер покривила душой, сказав, что про Иркутск ей рассказывать нечего. Просто не хотелось при Ксенькиной бабушке живописать роман, который случился у нее с актером местного драматического кружка. При Матрешином сыне рассказывать об этом не хотелось тоже, поэтому его присутствие показалось ей очень некстати.

– Вы успели познакомиться? – спросила Ксения. – Это Эстер Левертова, моя подруга.

– Я понял, – кивнул молодой человек.

– А это Игнат Ломоносов.

Даже при Ксенькиной сугубой вежливости и врожденной неспособности кого бы то ни было обидеть ни словом, ни взглядом, улыбка все-таки мелькнула в уголках ее губ. Эстер же, особой тактичностью не отличавшаяся, просто расхохоталась.

– Ломоносов? – воскликнула она. – Потрясающе! Пришел в Москву пешком с рыбным обозом? Покорять столицу?

– Звездочка, Звездочка! – смутилась Ксения. – Ну почему непременно покорять?

– Я на поезде приехал, – сказал Игнат Ломоносов. – Вчера.

Во взгляде, которым он смотрел на Эстер, спокойствие соединялось не с любопытством, но со вниманием.

– Существенное уточнение, – усмехнулась Эстер. – Ладно, дерзайте, дело ваше. Может, фарфор какой-нибудь новый изобретете, осчастливите Ксеньку, – добавила она. – Подобно однофамильцу. Или он вам родственник?

– Новый фарфор нельзя изобрести, – возразила Ксения. – Фарфор – это традиция. И Ломоносов его, кстати, вовсе не изобретал. А Игнату он, возможно, в самом деле какой-нибудь дальний родственник. Игнат ведь тоже из Архангельской губернии. Он сегодня с нами прогуляется, ты не против? А то ему завтра на работу уже, некогда будет и Москву посмотреть.

– Да пусть гуляет, жалко, что ли? – махнула рукой Эстер; родственник Ломоносова занимал ее в наипоследнюю очередь. – Вперед!

Эстер гордилась тем, что живет на самой модной улице Москвы. Разве что Кузнецкий Мост, пожалуй, мог поспорить в этом с Петровкой. Вообще же не зря ее называли котиковой улицей. Дамы, насмешливо именуемые шиншилловыми мадоннами, прогуливали по ней свои шубы – и котиковые, и шиншилловые – в огромных количествах и с огромным же достоинством. Их преисполненный собственной значительности тон – надо было видеть, как держали они свои большие лакированные сумки, прямо будто членские билеты какой-то очень

престижной организации! – обычно смешил Эстер. Но сейчас, после месяца, проведенного в глухой провинции, где в апреле еще лежал снег, даже томные петровские дамы вызывали у нее почти умиление. Тем более что и шубы свои они уже сняли, и даже пальто, и щеголяли теперь прелестными весенними платьями.

Ее вообще восхищало все, чем пестрела любимая Петровка.

– Кс-енька! – простонала она, глядя на витрину магазина «Парижский шик». – Посмотри, какие кофточки! Вон та, видишь, цвета яичного желтка. Из шелковой пряжи, с ума можно сойти!

– Зачем же с ума сходить? – Ксения улыбнулась своей едва заметной улыбкой; Игнат безмолвно стоял у нее за спиной, и нельзя было понять, как он относится к кофточкам из шелковой пряжи; впрочем, Эстер и не трудилась это понимать. – В самом деле, сплошное очарование. Тебе такая очень пошла бы.

– Куплю, – решительно заявила Эстер. – Сейчас же и куплю.

Но тут она перевела взгляд на витрину, где было выставлено белье, и кофточка была немедленно забыта. Белье было снежно-паутинное, даже на вид совершенно невесомое, а для полного уж соблазна такого пылкого, как у Эстер, воображения в той же витрине среди бельевых кружев были выставлены также и восхитительные подвязки, обшитые розами.

– Подвязки точно куплю! – Эстер вскрикнула так громко, что на нее стали оборачиваться прохожие. – И еще шнурки для корсета!

– Но зачем они тебе? – Ксения попыталась внести нотку трезвости в подружкины восторги. – Разве ты носишь корсет?

– На сцене буду носить. Мне для сцены нужно. Ксенька, миленькая, ну не сердись! – воскликнула Эстер. – Ты себе не представляешь, как я этого ждала! Минуты считала. Чтобы совсем одна, совсем свободна и делаю что хочу. Ведь это же счастье, настоящее счастье, как ты не понимаешь!

– Какое же счастье, если совсем одна? Да ты и не одна вовсе, потому тебе и кажется, что одной быть – это счастье. Мы ведь с тобой.

Наверное, Ксения имела в виду себя и бабушку, кого же еще. Но взглянула при этом на Игната, словно призывая его в свидетели своих слов.

– Ну просто родная душа! – фыркнула Эстер, проследив за ее взглядом.

– Спасибо, – сказал Игнат, глядя при этом не на Эстер, а на Ксению.

Та почему-то смутилась и отвела глаза.

«Что за детские переглядки!» – сердито подумала Эстер.

Хотя отчего бы ей сердиться?

– Я бюварную бумагу должна купить, – сказала Ксения. – Бабушка просила.

– Зачем ей бюварная бумага? – удивилась Эстер.

– Она мемуары пишет, – улыбнулась Ксения. – Историю нашей семьи. А пишмашинистке отдавать дорого. Вот она и пишет через бюварную бумагу, чтобы сразу три копии получалось.

– Купим бюварную бумагу, – кивнула Эстер.

Она готова была сейчас купить не то что необходимую Евдокии Кирилловне бумагу, но множество никому не нужных вещей – вот хоть медовый табак, что ли, – и наделать вдобавок множество глупостей, и даже непременно глупостей! Жизнь, идущая по законам позитивной логики, та жизнь, которой жили ее родители и в которую она вынуждена была погрузиться из-за того, что провожала их на новое место службы и жила там с ними целый месяц, – наводила на нее тоску и уныние. Да зачем же даны человеку его девятнадцать лет, если не для того, чтобы все вокруг него кипело и бурлило и чтобы кровь в его сердце бурлила тоже?!

Бюварную бумагу Ксения купила сама, категорически отказавшись, чтобы это сделала Эстер.

– И совсем у тебя не много денег, – спокойно возразила Ксения, когда Эстер стала ее уговаривать принять бумагу в подарок. – Это тебе сейчас так кажется, потому что ты воодушевлена приездом. А поживешь три дня в Москве, живо на землю опустишься. Безработица ужасная, а цены такие, будто кругом сплошные миллионеры.

– Глупости! – повела плечом Эстер. – Безработица… Придумаю что-нибудь.

Она все-таки купила Ксеньке в подарок красивый дамский портфель с зеркальцем внутри. Ну невозможно же смотреть, как та, собираясь в свои Вербилки, укладывает завтрак в какую-то потертую сумку, будто нищенка! Правда, о том, что портфель предназначается ей в подарок, Эстер до поры решила Ксеньке не говорить. А то выйдет как с бюварной бумагой. Ксенька ведь упрямая вообще-то, даром что выглядит бесплотным эльфом.

По счастью, никакого подвоха в подружкином приобретении Ксения не заподозрила, тем более что Эстер купила еще и пудру, приобрести которую зазывал огромный плакат: «Есть дороже, но нет лучше пудры КИСКА-ЛЕМЕРСЬЕ!», и те самые подвязки с розами.

Торговцы, которыми изобиловала Петровка, моментально почуяли покупательский пыл, которым просто-таки дышала эта стремительная, яркая девушка, и наперебой зазывали ее к своим товарам.

– А вот совершенно новое средство против зачатия! – окликнул ее какой-то унылый тип с рябым лицом. – Барышня, обратите внимание!

Ксения покраснела и, схватив Эстер за руку, бросилась прочь, Эстер расхохоталась, а Игнат, кажется, слов торговца не расслышал. Или, может, просто не понял по деревенскому своему неведению. И прошел мимо него вслед за своими спутницами, делая один шаг там, где им требовалось сделать три.

– Ну что ты как папиросница застыдилась? – укорила Эстер, когда все еще пылающая от неловкости Ксенька отпустила ее руку.

Торгующих папиросами девушек в шапочках «Моссельпром» не зря считали беспросветно сентиментальными. Доходы у них были маленькие, и, подолгу ожидая, кто бы купил пачку «Кино», «Басмы» или дорогой «Эсмеральды», они запоем читали слезливые романы, которые в изобилии продавались у букинистов на Кузнецком.

Но обращать слишком пристальное внимание на Ксенькины пылающие щеки Эстер было некогда. Любимая Петровка играла перед нею целым фейерверком знакомых, но подзабытых впечатлений. Прислушавшись, она услышала звуки струнного оркестра и увидала толпу, собравшуюся на тротуаре напротив двенадцатого дома.

– Да это же моды показывают! – ахнула Эстер. – Ксенечка, а я ведь и позабыла про это, представляешь? Пойдем посмотрим!

Толпа стояла у огромной витрины «Москвошвея», а в ней сменяли друг друга живые картины – красавицы в умопомрачительных нарядах, считавшихся последним криком парижской моды. И хотя проверить, так ли это и действительно ли платья с глубоким декольте являют собою тот самый парижский cri, никто из собравшихся перед витриной не мог, – наряды все же казались так элегантны, так хороши, что ни у кого и сомнений на этот счет не возникало.

Демонстрация мод началась, наверное, уже давно, поэтому пробраться сквозь толпу поближе к витрине не представлялось возможным. Правда, Ксения и не стремилась поближе – стояла себе спокойно за спинами толпящихся людей и довольствовалась одними лишь звуками французской музыки да возгласами конферансье. Эстер же сердилась ужасно – даже поколотила кулачком по спине одетого в толстовку мужчины, который, стоя прямо перед нею и распространяя вокруг себя луковые миазмы, отпускал сальные шутки в адрес манекенщиц и не желал сделать ни шагу в сторону, чтобы дать возможность увидеть их из-за его широченной спины. Эстер не надеялась, что дробь ее кулачка произведет на него какое-либо действие, – она просто рассердилась, вот и все, – но мужчина неожиданно обернулся и, обдав ее совсем уж невыносимым ароматом, зло рявкнул:

– Куда лезешь?! Тоже ляжки не терпится заголить?

Эстер даже отшатнулась – не от страха, конечно, а только из-за отвратительного запаха, который шел у него изо рта. Но хам этот, видно, принял ее жест за испуг и, стремясь продемонстрировать окончательное свое превосходство, поднял руку, собираясь вовсе вытолкнуть ее из толпы перед витриной. По счастью, Игнат Ломоносов, до сих пор безучастно стоявший рядом, сделал какое-то едва уловимое движение, от которого его плечо оказалось прямо перед протянутой к Эстер рукою. Ей показалось даже, что луковый мужчина охнул, будто ненароком наткнулся рукой на каменную кладку.

– Пойдем, Звездочка. – Ксения решительно взяла ее под руку. – Все равно уже заканчивают, да и не видно ничего.

– Ну, пойдем, – нехотя согласилась Эстер.

Настроение у нее от хамской выходки все-таки немного испортилось. Хорошо Ксеньке, ей и моды неинтересны, да и все восхитительные соблазны Петровки. То есть не хорошо, конечно, а просто спокойно… Ведь что же хорошего в том, чтобы жить на свете без интереса к соблазнам? Скука, и только!

– И вот, представляешь, открывают они склеп, а там тринадцать черепов!

– Отчего же именно тринадцать? – Даже в полной темноте, царившей в комнате, Эстер увидела, что Ксения улыбнулась. Не глазами, конечно, увидела, а как-то иначе. – Я думаю, это после уж выдумали. Для пущего страха.

– И ничего не выдумали, – возразила Эстер. – Это весь «Марсель» знает, даже мадам Францева.

– Но я ведь не знаю.

– А просто ты у нас глупостями не интересушься! – засмеялась Эстер. – Оттого и не знаешь. И неужели не страшно, Ксенечка? – с любопытством спросила она. – Ты только представь, тринадцать черепов, жутких, желтых, и кости еще! И все прямо вот здесь, на углу. Вам страшно? – обернулась она к Игнату, силуэт которого угадывался на фоне окна.

– Нет, – сказал Игнат.

Что и говорить, потомок Ломоносова не отличался многословием. Даже непонятно, зачем он пришел вместе с Ксенией в комнату к Эстер, ведь явно не испытывает никакого интереса к девичьей болтовне. Ну да, впрочем, он и не мешает, так что пусть сидит. Тем более, когда Эстер стала рассказывать про страшную находку, сделанную прошлым летом в подвале магазина «Все для радио», то во всем доме погас свет, и ей самой стало не по себе: все-таки черепа, кости…

– Там когда-то церковь была, – сказала Ксения. – Рождества Богородицы. Конечно, и кладбище при ней было. Оттого и черепа в подвале.

– Да-а? – разочарованно протянула Эстер. – А я думала, роковые страсти какие-нибудь. Например, у какого-нибудь князя, когда-нибудь при Иване Грозном, была любимая жена, а к ней тайком любовники ходили, вот он и приказал их всех убить, и ее убить, и ее конфидентку тайную – горничную, что ли – убить, и всех в подвале замуровать.

Ксения засмеялась. Смех ее прозвучал в темноте нежным серебром.

– Фантазерка, – сказала она. – Тебе повсюду роковые страсти мерещатся.

– Ну и что? – дернула плечиком Эстер. – Без роковых страстей скучно. Даже с желтыми черепами.

– У тебя свечи есть? – спросила Ксения. – Или я вместе с головой принесу. А то света, возможно, до утра уже и не будет, а сахару непременно сегодня надо наколоть. Бабушка пообещала, что завтра утром три четверти Анне Григорьевне вернет.

Анна Григорьевна была старушка вроде Евдокии Кирилловны, только приходилась супругой не покойному священнику Троице-Сергиевой лавры, как Иорданская, а одному из многочисленных князей Голицыных, тоже, разумеется, покойному. Откуда у нее взялась целая сахарная голова, неизвестно, роскошь это была для человека ее происхождения непомерная. Но вот откуда-то взялась же – возможно, обнаружилась где-нибудь в тайнике, припрятанная с дореволюционных пор. Впрочем, едва ли: уж с революции восемь лет прошло,

как было сохраниться сахарной голове! Тем не менее драгоценность была передана Евдокии Кирилловне с тем, чтобы быть расколотой и наколотой на мелкие кусочки: у самой княжны Голицыной не осталось уже силы в руках для такой работы.

– Не надо свечей, – неожиданно произнес Игнат. – Я и без света наколю.

Ксения сбегала к себе и через минуту вернулась с сахарной головой, завернутой в синюю бумагу, и с тяжелой колотушкой. Щипчики, предназначенные для того, чтобы брать сахар из сахарницы, у Евдокии Кирилловны сохранились, но большие щипцы для колотья сахарных голов давно были проданы как предмет, в повседневной жизни совершенно бесполезный.

– Только потихоньку колите, Игнат, – сказала Ксения, – а то осколки по комнате разлетятся, и мы их в темноте не соберем.

Игнат разостлал бумагу на столе, придвинутом вплотную к окну, и ударил колотушкой по сахарной голове. Он встал при этом так, чтобы помешать осколкам сахара разлетаться по комнате. Плечи у него были так широки, что закрывали не только стол, но и оконный проем. Удар показался Эстер не сильным, но сахарная голова сразу раскололась пополам. Следующим ударом Игнат расколол ее еще на четыре части, на восемь, и еще… В темноте было видно, как от колющегося сахара летят мелкие голубые искры. В этом было что-то завораживающее.

– Душа сахара, правда, Ксенечка? – сказала Эстер.

– Правда.

На «Синюю Птицу» их с Ксенькой приглашала в Художественный театр подружка Эстер, Алиса Коонен. Она еще только училась в театральной школе, но уже играла в этом спектакле.

«Надо будет к Алисе забежать! – вспомнила Эстер. – Завтра же и забегу. И в Вахтанговскую студию, и в «Семперанте»…»

При мысли о том, как много прекрасного ожидает ее уже завтра, и послезавтра, и много-много дней впереди, она зажмурилась от счастья и рассмеялась.

– Ну, расскажи же, как ты в Иркутске жила, – сказала Ксения, снова улыбнувшись в темноте; конечно, подружкиному смеху. – У тебя наверняка был роман.

За полдня Эстер привыкла к присутствию Игната, поэтому принялась рассказывать о своем романе так, как если бы в комнате не было посторонних.

– Конечно, я пошла только из любопытства. Ну, и от скуки тоже. Тощища в этом городишке смертельная, к тому же холод и мрак, а в клубе все-таки лампы керосиновые. И, конечно, мне сразу предложили роль. Ты слушаешь, Ксень? – уточнила Эстер.

Ксения сидела в углу так тихо, что можно было усомниться даже в ее присутствии, а не только в том, что она слушает подружкин рассказ. Голубые искры уже не летели от сахарной головы: Игнат раскалывал ее теперь на совсем маленькие кусочки, и делал это своими огромными руками, казалось, совсем без усилия.

– Ну конечно, слушаю, – ответила Ксения. – И кого же ты играла?

– Ты будешь смеяться – Катерину в «Грозе»!

– Отчего же мне смеяться?

– Я – безропотная жертва семейной тирании! Да вдобавок самоубийца от любви. Уже смешно! Но я, надо сказать, так прониклась своей ролью, что сама едва в Бориса не влюбилась. То есть в актера, который его играл. Впрочем, он тоже был Борис. Ну а он в меня влюбился по уши.

– Попробовал бы он в тебя не влюбиться, – улыбнулась Ксения. – Всякий мужчина потом всю жизнь сожалел бы, если бы упустил свое счастье.

– И вовсе я не собиралась составлять его счастье, – хмыкнула Эстер.

– Я не о том, чтобы ты его счастье составляла. Просто влюбиться в тебя – уже счастье.

– А если без взаимности?

– Хотя бы и без взаимности. Я думаю, любовь к тебе способна осветить всю жизнь и дать пищу для лучших воспоминаний в старости.

Услышав это, Эстер расхохоталась.

– Ох, Ксенька, до чего же ты смешная! Сразу видно, никогда не влюблялась. Да когда она еще будет, старость! И зачем об этом думать?

Эстер вспомнила, как целовалась с Борисом после премьеры, как с его головы упала в снег шапка, и он шептал в коротких паузах между поцелуями: «Как хорошо, до чего же хорошо!» – а потом на коленях умолял ее пойти с ним на какую-то квартиру, где им никто не помешает, а она только смеялась и бросала в него снежками.

А Ксенька – о какой-то старости!

– А на прощание он мне подарил колечко. И, представь, не из какого-нибудь пошлого золота, а сам выковал из чугуна. У его отца кузня, он там подмастерьем. Очень футуристское колечко получилось, я тебе потом покажу. И Крученыху покажу, ему понравится.

Эстер представила, как будет дразнить чугунным колечком поэта Алексея Крученых, с которым у нее незадолго до отъезда в Сибирь намечался, да так и не состоялся роман, и ей стало совсем весело. Хотя казалось, веселее, чем во весь этот день и вечер, уже и быть не может.

– Звездочка, нам ведь пора! – вдруг спохватилась Ксения. – Игнату завтра чуть свет на работу, и дойти ему еще надо до Преображенской площади.

– Так далеко? – удивилась Эстер.

– Там строительство большое, вот и берут рабочих из деревень. Он и жить там будет, в бараке.

– Жалко, что ты уходишь, – вздохнула Эстер. – Совсем и не поздно, мы бы с тобой еще поболтали.

– Оставайтесь, Ксения Леонидовна, – сказал Игнат. – Мне Евдокия Кирилловна постелила. Я пойду.

И, не дожидаясь ответа, вышел из комнаты. Эстер показалось, что Ксенька словно бы качнулась ему вслед – совсем легко, как свечное пламя тянется вслед сквозняку от внезапно открывшегося окна. Но, наверно, это в самом деле только показалось в темноте.

– Конечно, поболтаем, – сказала Ксения. – Так чем же закончился твой сибирский роман?

Глава 5

Квартира нашлась легко и, главное, здесь же, в Кривоколенном переулке. За два месяца, прожитых с Маратом, Алиса поняла две вещи: во-первых, она не может жить в коммуналке, и, во-вторых, она хочет жить только в старом московском доме с его венецианскими окнами и широкими подоконниками. Оба эти соображения она изложила риелтору, и уже через день выяснилось, что реализация их не составляет никакой проблемы. А Алиса-то была уверена, что в Москве любое, самое простое, бытовое действие вот именно составляет проблему! Но квартира нашлась мгновенно, и именно там, где она хотела, – на углу Кривоколенного и Армянского переулков.

– Это прямо под башенкой, – рассказывала она Марату, который в поисках квартиры участия не принимал, предоставив Алисе одновременно и выбор, и хлопоты, с ее выбором связанные. – Ты же знаешь этот дом, где башенка и над ней такой красивый барельеф?

– Не знаю, – пожал плечами Марат. – Но разницы нет. Главное, чтобы тебе нравилось.

– Мне очень нравится, – серьезно сказала Алиса. – Конечно, было бы лучше прямо в самой башенке. Но риелтор сказала, что там нежилой фонд. И что там уже живут, поэтому снять ту квартиру нельзя. Довольно смешно, – улыбнулась она.

– Что смешно? – не понял Марат.

– Что квартира считается нежилая, но в ней живут.

– Ничего смешного, – хмыкнул он. – Обычный российский сюр. Тебе же это нравится.

Он напоминал Алисе о том, что ей нравятся всяческие несообразности, так часто, что иногда это ее раздражало. Но сейчас она испытывала только восторг от того, что ей предстоит жить в доме с башенкой.

И они поселились в доме с башенкой, в двух комнатах с просторной кухней и с большой ванной. В кухне была дверь, выходящая на черную лестницу, а в ванной окно, выходящее во двор. Дверь была закрыта на тяжелый засов, открыть который можно было лишь очень большим усилием, а окно вообще не открывалось. Впрочем, Алисе ведь и не надо было ни выходить на черную лестницу, ни тем более вылезать во двор через окно.

Она купила мебель, посуду, постель – вообще все, что нужно для жизни, – и они отпраздновали новоселье.

– Алиса, ты молодец! Может, мне тоже стоит поселиться в квартире вместе с русской девушкой? – поздравил Джон Флаэрти, ее сценический возлюбленный. – Это гораздо удобнее, чем в отеле. По крайней мере, перестанут звонить каждую ночь сутенеры, предлагая проституток.

Джон был обаятельный красавец, не зря же играл в «Главной улице» героя-любовника, и выбор московских девушек у него в самом деле образовался такой, что и квартиру снимать, пожалуй, не понадобилось бы: не у одной из них наверняка обнаружилась бы собственная квартира или даже загородный дом.

– Но все-таки я не жил бы так замкнуто, – добавил он к своему поздравлению. – Мы забыли, как ты выглядишь без грима.

– То есть? – не поняла Алиса.

– То есть ты нигде не бываешь и каждый вечер слишком спешишь домой. А между прочим, в Москве происходит много увлекательных вещей, и не все они происходят в твоей квартире.

На кого-нибудь другого Алиса, может, и обиделась бы за такую бесцеремонность, но бесцеремонность Джона – это было святое. Даже не бесцеремонность, а бесшабашность. Сколько ее было в Алисиной жизни, столько было связано именно с великолепным мистером Флаэрти, и не просто связано, а привнесено им в ее жизнь за десять лет дружбы.

Он дал ей попробовать марихуану, и сделал это так, что Алиса не приохотилась к травке. Он водил ее в лофты к художникам, где можно было сидеть сутки напролет и разговаривать о всяческих отвлеченностях. И именно он привел ее на кастинг в «Главную улицу» и с самого начала сказал, что она непременно подойдет на главную роль…

В нем была та легкость, которой Алисе так не хватало в жизни, и единственное, чего она не понимала про Джона Флаэрти, – это почему она в него все-таки не влюблена.

– Я в самом деле увлеклась своей домашней жизнью, Джонни, – виноватым голосом сказала она. – Я исправлюсь.

– Боюсь, Марат убьет меня за такие советы! – расхохотался Джон. – Хорошо, что он плохо нас понимает.

Марат говорил по-английски хуже всех русских, которые были заняты в мюзикле. И почему-то еще хуже по-английски понимал. Впрочем, удивляться этому не приходилось: он никогда не был ни в одной англоязычной стране, да и вообще ни в одной стране, кроме России, никогда не был. А ведь в первый месяц, который Алиса провела в Москве, она тоже плохо понимала, что говорят русские, хотя ей казалось, что она знает язык не просто прилично, но даже хорошо.

Она заметила, что Марат прислушивается к ее разговору с Джонни, хотя при этом болтает с Мариной, сидя на кухонном подоконнике. Оконная створка рядом с ним была открыта, с улицы врывался ярко-белый пар, просвечивали сквозь него манящие московские огни.

Огни светились, переливались, и когда Алиса и Марат шли по Маросейке. Они проводили гостей и решили прогуляться сами, потому что у Алисы голова разболелась от водки, как-то незаметно выпитой вперемешку с шампанским.

– Что это тебе Джон вкручивал? – спросил Марат, когда они уже возвращались домой, сделав круг по Покровке и Чистопрудному бульвару.

– Вкручивал? – переспросила Алиса.

– Ну, говорил. Что?

Он спросил об этом с небрежностью, в которой Алиса сразу расслышала что-то нарочитое. А последний вопрос прозвучал коротко и резко, как будто он сорвался и выдал себя. Она удивленно взглянула на Марата – лицо у него было такое белое, словно они шли не по Москве, а по Северному полюсу. Хотя морозы давно уже спали: заканчивался февраль.

– Я обязательно должна тебе ответить? – пожала плечами она.

– Да.

Теперь он уже не скрывал резких интонаций в своем голосе.

– Почему ты в этом уверен?

– Потому что… – Он на секунду замолчал, потом вдруг остановился и, повернувшись к Алисе, крепко взял ее за плечи, притянул поближе к себе, совсем близко, глаза в глаза. – Потому что ты моя!

– Что значит твоя?

Сила его объятий впервые показалась ей неприятной. К тому же она наконец поняла, что он пьян – не настолько, чтобы не владеть собою, но все-таки.

– Ты живешь со мной, спишь со мной, ты меня по утрам целуешь, и ночью… Мы с тобой любим друг друга ночью. Это для тебя неважно?

– Это важно, – улыбнулась Алиса. – Если мы с тобой любим друг друга, это важно. И не только ночью. Но я не понимаю, при чем здесь мой разговор с Джонни.

Конечно, она прекрасно понимала, при чем. Марат ревновал ее к Джонни Флаэрти. Она только сейчас догадалась, как он ревнив – у него лицо стало белым от ревности, словно от мороза.

– При том! При том, что он сказал, что я тебе не пара. Скажешь, нет?

– Какая глупость, – поморщилась Алиса. – Не пара – ведь это говорят, когда собираются пожениться? Но мы с тобой не строили таких планов. А если бы строили, я не стала бы ни с кем советоваться. Даже с Джонни, хотя он мой давний дружок.

Она снова улыбнулась, чтобы смягчить свои слова про женитьбу, которые, может быть, могли его обидеть. Ей было жаль Марата с его ревностью, и сама его пламенная ревность была даже красива. Но она знала, что в любви не имеет значения ни жалость, ни красота любых побочных чувств. Любовь сама по себе такое чувство, которое делает неважным все остальное.

Алиса не знала, откуда взялось у нее такое убеждение, но не сомневалась в его верности.

Она повела плечами; Марат опустил руки.

– Ты меня с ума сведешь, – глухо выговорил он. – Ты такая, что я от ревности сдохну.

– Джонни говорил всего лишь, что мы с тобой мало где-нибудь бываем, а в Москве много интересного, – успокаивающим тоном сказала Алиса. – Я думаю, он

прав.

– Черт его знает, – нехотя произнес Марат. – По-моему, это какой-то провинциальный комплекс. Ах, Москва, ах, Третьяковская галерея, побежали быстрей! У вас-то это откуда? Были б вы еще из своего какого-нибудь захолустья американского, тогда понятно. Но Нью-Йорк же…

– Вот именно. Нью-Йорк у меня в крови.

– От бабушки? – усмехнулся он.

Алиса не ответила. Она сама не очень понимала, откуда берется в человеке то, что составляет суть и смысл его жизни. И уж точно не собиралась обсуждать это с Маратом. Он был не тот человек, с которым обсуждают такие вещи. Вот Джонни был тот самый человек. Но с Джонни ей совершенно не хотелось бы прийти сейчас домой, и торопливо раздеться, чтобы поскорее оказаться рядом под одеялом, и почувствовать, как его холодное после прогулки тело теплеет, горячеет, становится совсем горячим… А с Маратом ей всего этого хотелось, и так сильно, что неважной становилась его оскорбительная ревность. Даже головная боль прошла при одной мысли о том, что через пять минут они будут дома.

– Ты одна дойдешь? – сказал Марат.

– Дойду. – Алиса почувствовала себя так, как, наверное, чувствует себя лошадь, которой вдруг резко натянули уздечку. – А ты… не пойдешь домой?

– Если ты не обязана передо мной отчитываться, то я перед тобой тем более. – Она расслышала в его голосе что-то похожее на насмешку; лицо, впрочем, было непроницаемое, только блестели глаза, но блеск их был непонятен. – Спокойной ночи.

Что ж, на отсутствие характера Алиса никогда не жаловалась. Она повернулась – не резко, не в сердцах, а просто повернулась, потому что к дому надо было идти направо, – и, не оглядываясь, пошла по Кривоколенному переулку.

Глава 6

– Потому что это кажется мне глупым. Абсолютно глупым.

Алиса так резко отодвинула бокал на край стола, что он чуть не свалился на пол. Она давно уже не чувствовала себя настолько сердитой, просто до невозможности сердитой! То, что небрежно-ироническим тоном пытался объяснить этот молодой человек с красивым росчерком темной челки на бледном лбу, казалось ей не просто глупым, а плебейским. Это было странное слово, она никогда не произносила его не только вслух, но и про себя, и даже не помнила, откуда оно ей вообще известно. Но именно это слово являлось точной характеристикой того, что ей пытались сейчас выдать за само собой разумеющуюся истину.

– Просто ты американка, – сказал молодой человек. Алиса наконец вспомнила, что его зовут Борис и что он просил называть его Бо. – У тебя демократизм зашкаливает.

– А у тебя зашкаливает снобизм, – пожала плечами Алиса. Она уже успокоилась и теперь жалела, что так эмоционально на этот самый снобизм отозвалась. – Думать о том, как надо держать бокал, это дешевый снобизм и больше ничего.

Она хотела еще сказать, что такой снобизм происходит от душевной пустоты, но решила, что объяснять такие вещи Бо необязательно. Да и вообще пафос казался ей не менее глупым, чем снобизм. Поэтому ее так раздражала VIP-зона элитного клуба, в которой она по какому-то недоразумению оказалась этой ночью.

– Ну и снобизм, что плохого? – хмыкнул Бо. – Вы, американцы, не понимаете, что во многих вопросах нужно быть снобами.

– А вы, русские, не умеете быть снобами, – в тон ему злорадно заявила Алиса. – И не замечаете, что выглядите смешно со своим доморощенным снобизмом.

Давно прошло время, когда она с трудом понимала, что говорят русские, а сама говорила по-русски с правильной безжизненностью. Теперь ей не приходилось подыскивать слова, и даже акцент если не исчез из ее речи вовсе, то стал почти

неуловимым.

– А Набоков?

Бо наконец завелся так, что даже как будто протрезвел.

– Ты не Набоков, – усмехнулась Алиса. – Не обольщайся на свой счет.

– А ты!.. – воскликнул он; старательная ироничность слетела с него, как пушинка с побелевшего одуванчика. – Даже не американка, а… вообще непонятно что!

В ответ на эти слова, произнесенные с мальчишеской запальчивостью, Алиса расхохоталась. Ей понравилось такое определение. Ради этого стоило, пожалуй, выслушать от пьяного Бо наставления о том, что бокал не следует держать всей рукой, как будто ты хватаешься за поручень в автобусе. Именно это наставление привело ее почти в ярость пять минут назад.

Алиса снова придвинула к себе бокал, допила остатки мохито и встала из-за стола.

– Пока, – сказала она. И добавила по-английски – вернее, по-американски, даже по-ньюйоркски: – Не старайся выглядеть аристократом, дорогой. У тебя это все равно не получится.

Не глядя больше на Бо, она прошла между столиками VIP-зоны, спустилась по лесенке вниз, в зону обыкновенную, тоже, впрочем, до неприличия дорогую и выглядящую так, словно на ее стены плескали из ведра золотую краску, и направилась к казино. Марат ушел туда около часа назад – это время казалось Алисе достаточным для удовлетворения легкого азарта, который и саму ее охватывал при виде завораживающего блеска крутящейся рулетки и даже звона банального «однорукого бандита».

«Зачем мы сюда пошли? – думала она, разыскивая коридорчик, по которому можно было пройти в казино. – Такой день был хороший…»

День был выходной, и они провели его с какой-то особенной, мимолетной, может быть, просто весенней, апрельской легкостью.

С утра поехали в Коломенское и долго бродили по ясным холмам, под туманно зеленеющими деревьями, над быстрой водой бурлящей паводком реки, среди белых церковных стен. Потом ели шашлык в только что открывшемся летнем кафе, руки еще мерзли на весеннем ветру, поэтому решили выпить вина, но оно не согрело, а только развеселило, и тогда стали на ветру же целоваться, и наконец согрелись. Потом снова гуляли – уже не по Коломенскому парку, а просто по городу, коротали время до вечера. Потом пошли в консерваторию, и музыка – они слушали Шопена и Рахманинова – была похожа на шелест весенних березовых веток над темной землей, едва проколотой первой травою.

И все это время Алиса чувствовала, как сильно Марат ее хочет, и это чувство будоражило больше, чем весенний воздух, шелест мокрых веток, вино и музыка.

А потом они зачем-то пошли в этот дурацкий клуб.

– Ты же сама хотела, – сказал Марат. – Сама же говорила, что мы нигде не бываем.

Он напомнил об этом впервые с того вечера, когда они поссорились прямо на ночной зимней улице. Марат тогда вернулся домой под утро и, кажется, пьяный. Или не пьяный, а просто беспокойный, чем-то возбужденный. Алиса не очень это поняла, потому что не вышла из спальни, а он туда не вошел – лег спать на диване в гостиной. Вообще-то это было условное деление, на спальню и гостиную, просто в Алисиной комнате стояла их общая кровать, а в комнате Марата они смотрели вечерами телевизор, сидя на диване.

На этом диване он и лег спать той ночью один.

Утром они столкнулись на кухне, и Марат спросил:

– Ты кофе будешь или чай заварить?

Он смотрел исподлобья, глаза его блестели тем непонятным темным блеском, который так будоражил Алисино воображение. Меньше всего ей хотелось сейчас выяснять с ним отношения. Она вообще не нуждалась в какой-то особой проясненности своих отношений с людьми, которые что-то в ее жизни значили.

– Кофе, – ответила Алиса. – Ты не помнишь, у нас есть молоко?

Марат вышел из кухни; хлопнула входная дверь. Алиса открыла холодильник – молока не было. Через десять минут дверь открылась снова и Марат возник на пороге кухни. Снег лежал у него на волосах крупными хлопьями; он выходил без шапки. В руке он держал стеклянную бутылку – «Можайское», которое любила Алиса.

– Прости, – сказал он. – Я… Я ночью пьяный был и молоко все под утро выпил.

Алиса засмеялась. Весь он был в этом – извиниться, но так, чтобы не задеть то, что он считал своей мужской гордостью, а Алиса – мальчишечьим гонором.

– Не ревнуй меня, – сказала она. – Я тебе не изменяю.

– Не говори про это. – Его лицо застыло. – Даже в шутку… Не говори!

Она только вздохнула. А что оставалось делать? Или расставаться, или мириться с глупой его ревностью. Расставаться с ним Алиса не хотела.

Он не любил вспоминать о той ночи и никогда о ней не говорил. Но, наверное, думал, если спустя два месяца вспомнил о том, что именно она тогда говорила.

Поэтому Алиса не стала спорить, поэтому они оказались ночью в этом отвратительном клубе, где совсем молодой парень, у которого голова должна быть занята живой жизнью, а не мертвыми муляжами, платит несколько тысяч долларов за то, чтобы сидеть за одним столиком, а не за другим, и следит за тем, как девушка держит бокал, чтобы в зависимости от этого строить с ней отношения…

О том, сколько стоит вход в эту идиотскую VIP-зону, Алиса узнала только от этого самого Бо, иначе, конечно, вообще не вошла бы сюда. Она не понимала лишь одного: неужели Марат отдал заработанные в несколько месяцев деньги за сомнительное удовольствие провести здесь вечер?..

Этот вопрос она собиралась задать ему сразу же, как только найдет его в казино.

Казино оказалось под стать всем остальным помещениям клуба. В дороговизне его отделки чувствовался даже стиль; впрочем, Алису он нисколько не впечатлил. Ну, стиль, так ведь он и должен быть у любого ресторана, бара, кафешки, они ведь для того и выдуманы, чтобы менять собою настроение людей, которые в них приходят.

Казино «Континенталь» было оформлено под заведение с традициями.

«Может, они и правда есть? – подумала Алиса, обводя взглядом лепнину на стенах, тяжелые драпировки из бордового бархата, золотые бра, похожие на канделябры. – Может, здесь и сто лет назад казино было, а просто я не знаю?»

Она в самом деле не знала, были ли в Москве сто лет назад казино, но ей почему-то не верилось, чтобы традиции могли быть в Москве хоть у чего-нибудь, связанного с богатством. Слишком оно здесь было убогое, это богатство, слишком кичилось собою. Как мальчишка с печатью натужного снобизма на лице кичился своим представлением о том, как следует вести себя какой-то мифической элите, к которой он сам же себя и причислил.

Впрочем, мысль обо всем этом занимала ее недолго. Алиса прошла между столами, за которыми играли в «блэк-джек», к центру зала – к столу, где крутилась с тихим звоном рулетка и низко висящая тяжелая люстра освещала лица игроков. Марат сидел напротив крупье. Его лицо казалось то бледным, то пылающим, хотя люстра светила ровно.

Алису он не заметил. Она остановилась неподалеку от стола и стала ждать, когда остановится пущенный крупье шарик. Шарик остановился, кто-то ахнул, кто-то засмеялся и зааплодировал, кто-то в досаде стукнул кулаком по столу… Марат остался неподвижен, и даже не просто неподвижен – лицо его окаменело, и во всех чертах этого застывшего лица проглянуло то самое, что Алиса заметила в нем однажды, когда он спал, и назвала про себя суровостью древнего воина, степного воина. То, что так манило ее к нему, так будоражило загадкой.

И только теперь, в казино, после его проигрыша – а Марат наверняка проиграл, потому что крупье не придвинул к нему ни одной фишки, – Алиса наконец поняла, как на самом деле называется главное в нем.

Это был дремлющий азарт. Или затаившийся азарт, так точнее. Его азарт вынужден был прятаться – из-за работы, из-за мелких забот, из-за общения с людьми, из-за секса, – но он был в нем всегда. И именно в том, что Алиса не догадывалась прежде о его азарте, состояла для нее Маратова загадка и притягательность…

«Но… как же? – растерянно подумала она. – Что, значит его загадка в азарте? Только в этом?!»

Неприятно было думать, что ее притягивала к мужчине только эта, такая для нее, в общем-то, неважная страсть – азарт, который он тщательно скрывал и которого она просто не сумела в нем распознать… Но Алиса не привыкла обманывать себя ни в чем, и как только у нее появилась точная догадка, она тут же назвала ее точным словом.

Марат встал из-за стола и пошел к выходу из казино. В его походке не чувствовалось отчаяния проигрыша – она была стремительна и вкрадчива, как у тигра. Помедлив немного, Алиса пошла за ним.

Она думала, что догонит его, возможно, уже на улице, так быстро он шел. Но когда Алиса оказалась в холле, Марат стоял в углу, рядом с бронзовой пепельницей, и разговаривал с каким-то мужчиной, высоким и длинноногим, как аист. Оба они стояли к Алисе спиной. Она подошла так близко, что ей было слышно каждое их слово. Они ее не видели, потому что ее отделяла от них портьера. Впрочем, даже и без портьеры они едва ли ее заметили бы: им ни до кого не было дела, и Алиса могла сколько угодно прислушиваться к их разговору.

– Я тебе сказал, что последний раз даю? – лениво растягивая слова, процедил Маратов собеседник. – Я тебе что, непонятно сказал? Ты ж вроде парень понятливый.

– Понятливый, – эхом откликнулся Марат.

Голос его звучал глухо и как-то маловменяемо.

– Так чего ж ты тогда?

– Еще один раз, Жора, – с трудом выговорил Марат. – Честное слово, последний! Теперь точно последний…

– Прошлый раз тоже чес-слово было, – усмехнулся Жора. – Нет, ну ты как в песочнице! Дай лопатку, честное слово, верну, ой, сломалась…

– Я верну, – снова эхом отозвался Марат.

– С каких, интересно, доходов?

– Выиграю. – Теперь в его голосе прозвучали уже нотки безумия. – Я знаю, как. Я выиграю. И верну. Все верну.

Жора взял его за плечо и встряхнул так сильно, что Алиса расслышала, как у Марата клацнули зубы.

– Голову на плечи надень, ты, малахольный! – зло сказал Жора. – Знает он! Что ты знаешь, а? Систему изобрел, чтоб шарик по уму крутился? Таких системщиков сюда знаешь сколько ходит? Один вон только вчера золотой укол себе сделал – не сработала его система, он и свалил на тот свет. А если ты от большого горя тоже так соскочишь? Денежки мне боженька с ангелами отдавать будет? Или черти со сковородки?

– Я отдам, – исступленно повторил Марат.

– Короче, – уже совсем другим, спокойным тоном сказал Жора, – обещанки бабе своей можешь оставить. А у меня другое условие. Будешь слушать или как?

– Не буду, – помолчав, проговорил Марат.

– Ну, не будешь, и не надо.

Жора тяжело качнулся в сторону, словно собираясь уйти.

– Я знаю. – Марат схватил его за рукав. – Знаю… условие. Можешь не говорить.

– И что?

– И… Да! – вдруг почти выкрикнул он. – Да, да!

– Ты мне эти вопли психозные брось. – Алисе показалось, что она видит, как Жора недовольно поморщился. – Спасибо бы лучше сказал. Ему человек хрен знает какие бабки готов платить, а за что, если подумать? Да такие, как ты, в любом подземном переходе чуть не даром предлагаются, уж я не говорю, в любой газете объявлений до хрена! Радоваться надо, что денежный мужик на него запал, а он… Думаешь, у тебя жопа какая-то особенная? Да повезло тебе просто!

– Дай денег, – чуть слышно проговорил Марат. – Сейчас дай.

– Расписку пиши.

– Что писать?

– Не волнуйся, продиктую. Получил – сумму прописью, обязуюсь в течение недели предоставлять интимные услуги по требованию. Дата, подпись.

Жора произнес это спокойным тоном, будто и правда всего лишь диктовал текст расписки. Но даже Алиса чувствовала за его спокойствием издевку, и, конечно, не мог этого не чувствовать Марат.

Он молчал.

– Ну? – первым нарушил молчание Жора. – Долго будем Му-Му иметь?

– Но я же… – наконец выдавил Марат. – У меня… – И, помолчав, пустым голосом произнес: – У меня ручки нету.

– На тебе ручку! – хохотнул Жора. – Бумагу тоже дам. Пошли в машину, все дам.

– И деньги? – быстро спросил Марат.

– И деньги. Расписку напишешь, деньги получишь и можешь ставить на свою систему, или на что ты там ставишь. А я человеку отзвоню и в машине тебя подожду. Лады?

Марат ничего не ответил. Но то, как стремительно он направился к крутящейся стеклянной двери, ведущей на улицу, не оставляло в его ответе сомнений. Жора со своими аистиными ногами едва за ним поспевал.

Алиса вышла из-за портьеры. Дверь еще кружилась, провожая Марата, а сам он уже сидел в машине, стоящей на парковке рядом с казино. Салон ее был освещен, и ошибиться в том, что он делает в этом освещенном салоне, было невозможно. Он быстро что-то писал, низко наклонив голову, и даже издалека сквозь крутящуюся дверь казалось, что ручка в его руке вот-вот порвет бумагу. Потом он бросил исписанный лист на колени сидящему рядом Жоре, взял у него пачку денег, засунул за пазуху, выскочил на улицу, не закрыв за собой дверь машины… Тут только Алиса сообразила, что сейчас он войдет обратно в казино и она столкнется с ним нос к носу в этом холле с пошлыми портьерами и плевательницами.

Но беспокоилась она об этом напрасно. Они прокружились навстречу друг другу в стеклянной двери. Марат пролетел мимо Алисы как одержимый.

«В этом нет ничего ошеломляющего. Возможно, он латентный гей. Или просто бисексуал. В любом случае во всем этом нет ничего необыкновенного».

Алиса шла по улице и твердила себе эти слова, как глупую детскую считалку. Да они и были глупыми, вернее, они были никчемными в своей убедительности. Как рекламный слоган. Входные двери в клуб и в казино были разными, поэтому Алиса не могла уйти сразу: надо было забрать пальто, а раздевалась она в другом гардеробе.

Она сама не понимала, почему чувствует такое отвращение к себе. Она не сделала ничего такого, что могло бы его вызвать. А то, что считал для себя приемлемым Марат, было его личным делом и не должно было касаться ее сердца так резко и болезненно. Да и при чем вообще сердце к сексу, неважно, между представителями какого пола он случается?

Алиса замерзла, пока дошла по улице от одной двери до другой. Во всяком случае, когда она забирала из клубного гардероба свое пальто, ее колотила дрожь.

«Апрель, – подумала она. – У них еще холодно в апреле».

Впервые за все время, прожитое в Москве, она подумала про этот город «у них».

– Иногда бывает и тепло, – вдруг услышала Алиса. – Вам просто не повезло. Вы приехали в Москву в холодный год.

Обернувшись, она увидела рядом с собой мужчину в темно-синем костюме. Такой костюм купил себе за три тысячи долларов мамин Джек, когда его сын женился на топ-модели. Тогда Алисе казалось, что глупее этой траты просто не может быть. Но это казалось ей там, дома. А почему бы не носить тысячный костюм в городе, где один только вход в ночной клуб примерно столько же и стоит? Господин, на которого этот костюм был надет, по крайней мере выглядел постарше Бо, который как раз и успел похвастаться Алисе ценой клубного билета.

– Откуда вы знаете, что я приехала в Москву? – спросила она. Зря, конечно, спросила – зачем поддерживать разговор с незнакомым человеком? Но ей почему-то хотелось произнести что-нибудь вслух. Она ведь, получается, и про апрельские холода подумала именно вслух. – Может быть, я в Москве родилась и прожила всю свою жизнь?

– Не может.

– Что – не может?

– Такого быть не может, – объяснил он. – Вы не родились в Москве и уж тем более не прожили здесь жизнь. В вас для этого слишком много свободы.

По чему он мог об этом судить, по ее словам о холодах, что ли? В какой-нибудь другой вечер это заинтриговало бы Алису, но нынешний вечер не располагал к любопытству. Ошеломляющих открытий ей на сегодня явно было достаточно.

– Благодарю вас, – сказала она. – Но позвольте мне пройти.

Он был не толстый, но какой-то широкий, какой-то полнотелый и мешал Алисе добраться до двери.

– Пожалуйста. – Он сделал полшага в сторону. – Я могу отвезти вас домой?

– Нет.

– Почему?

– Без комментариев.

Алиса невольно улыбнулась этим своим словам. Она освоила их уже здесь, в Москве. Пресс-секретарь «Главной улицы» Леша Меркурьев объяснил ей, что их следует произносить каждый раз, когда журналисты будут интересоваться у нее, правда ли, что мюзикл скоро закроют из-за разногласий между его русскими и американскими продюсерами.

– Зря, – сказал незваный провожатый. – Внутренняя свобода – это в России опасная штука. Разве вы еще не поняли?

– Вы ясновидящий? – спросила Алиса. – Почему вы решили, что я иностранка, еще до того, как я произнесла хотя бы слово?

Он окинул ее оценивающим взглядом, словно проверяя, стоит ли выдавать ей какую-то необыкновенную тайну, и сказал:

– Я не ясновидящий. Просто видел вас в «Главной улице». Не думал, что вы по-русски так хорошо говорите. Из эмигрантов?

И тут Алисе стало скучно. Ей стало невыносимо скучно разговаривать с посторонним человеком о посторонних ее сердцу подробностях жизни.

– Извините, я спешу, – сказала она, не глядя больше на своего собеседника.

Да она вообще-то и раньше не слишком к нему приглядывалась. Так, задержалась на полторы минуты – зацепилась языком, как называла это ее московская приятельница Маринка.

А теперь Алисе хотелось только молчания. Ей надо было обдумать то, что произошло с нею этим вечером. Хотя лично с нею-то ведь ничего и не произошло…

Глава 7

Хорошо, что старые оконные рамы закрывались неплотно.

То есть вообще-то это было совсем нехорошо: зимой в щелях свистел ветер, и их пришлось заклеить поролоновыми полосками. Но если бы окна закрывались плотно, то в квартире стояла бы могильная тишина, которая была сейчас для Алисы совсем некстати.

Тяжелые мысли никогда не отступают в тишине.

Хотя это и не мысли были – то, что теснилось у нее в груди. Мысли все-таки можно облечь в слова, а для этой смутной тоски слов не находилось.

«Надо понять, что я сделала не так, – подумала Алиса. – Не искать свою вину, а просто понять, в чем я поступила неправильно».

Но как только она спросила себя об этом, то сразу же поняла, что не найдет ответа. Она в чем-то ошиблась, но в чем? И почему ей кажется, что понять это невозможно, и что ей надо теперь сделать?

«Полгода в России – это все-таки слишком много, – усмехнулась Алиса. – Я начинаю рассуждать, как персонажи Достоевского. И вообще, скорее бы на работу – мне вредны выходные».

Но и эта мысль, в общем-то здравая, была, как говорила Маринка, типичное не то. В ней, в этой мысли, не было… Того, что ведет человека по жизни, вот чего в

ней не было!

Но в чем оно было, что это вообще такое? Алиса не знала.

Она вышла в кухню и, не включая свет, подошла к окну, прислонилась щекой к стеклу. Стекло было холодное – весеннее, апрельское, как ветер, и небо, и дымка первой древесной зелени. Из-за окна доносились неясные, весенние же звуки. Они как-то помогали душе, да, именно так, хотя и непонятно, чем помогали. Алиса вслушивалась в них, как в музыку, под которую ей предстояло бы, например, танцевать. Ей было хорошо среди этих непонятных звуков московской весны.

«Может, вообще не надо об этом думать? – с вопросительным малодушием подумала она. – Просто не думать, и все. Все само как-нибудь разрешится».

Но тут же она представила: вот открывается дверь, Марат снимает в прихожей куртку, идет в комнату, а она лежит в кровати и слышит его шаги, потом его дыхание, потом… И что потом?

Шаги послышались совсем рядом. Алисе показалось даже, будто кто-то прошел мимо нее прямо вдоль кухонной стены. Через мгновение она поняла, что это так и есть, только шаги слышатся все-таки не совсем рядом, а за стеной, на лестнице черного хода. Это было странно – Алиса впервые слышала, чтобы по этой лестнице кто-нибудь ходил; ей казалось, черный ход вообще заколочен с улицы.

Она осторожно подошла к двери, на всякий случай потрогала засов. В полном звуков и шорохов старом московском доме вполне могли ожить любые фантомы воображения, вплоть до привидений.

Да и без привидений следовало быть поосторожнее: по черной лестнице могли ведь ходить воры или даже бандиты.

Через минуту Алиса убедилась, что это по крайней мере не привидения: за стеной раздались голоса, громкие и резкие, потом глухие звуки. Что говорят голоса, Алиса не разобрала, но в звуках она сразу распознала удары. Очень сильные удары, если бы такие приходились по человеческому телу, то оно недолго оставалось бы живым… Но по чему же еще они могли приходиться,

такие жуткие в своей телесной глухоте?

Первый удар сопровождался коротким вскриком, второй – таким же коротким стоном, а уже третий и четвертый раздавались в полной тишине. От этой тишины пробирала дрожь и охватывало оцепенение.

Ждать, когда послышится седьмой или восьмой удар, Алиса не стала. Она схватилась обеими руками за тяжелый засов и потянула его в сторону. Больше всего она боялась, что засов не сдвинется с места. Она ведь никогда не пробовала открывать эту дверь, зачем бы? Но засов сдвинулся сразу, хотя и с громким скрежетом. Алиса распахнула дверь на черную – в самом деле черную, как пропасть, – лестницу.

И едва удержалась на ногах! Только потому удержалась, что подобное движение – когда танцоры падают спинами друг на друга, как костяшки домино, – ставилось в мюзикле «Главная улица» и было отработано Алисой до автоматизма. Она подхватила под мышки свалившегося на нее из-за распахнутой двери человека и, мгновенно втащив его в кухню, толкнула дверь ногой, а засов – локтем.

Засов лязгнул за секунду до того, как снаружи, с лестницы, раздался яростный удар в дверь. Сразу за ударом последовали крики, но вслушиваться в них Алиса не стала. За недолгое время, прожитое в этой квартире, она поняла, что все двери и стены здесь так надежны, что их не пробить не только кулаком, но даже средневековым тараном.

Человек, которого она держала под мышки, был совершенно неподвижен, но при этом не тяжел, как бывает тяжел всякий неподвижный человек на чужих руках. Алиса подтащила его к кухонному дивану и попыталась посадить, но он сразу же стал клониться набок, а потом упал навзничь. Правая рука свесилась с дивана вниз так, что он стал казаться уже не просто неподвижным, а мертвым.

До сих пор Алиса не включала в кухне свет, потому что ей легче думалось в темноте, а теперь не хотела его включать, чтобы не привлекать внимание тех, кто бился в дверь черного хода. Но даже в тусклых отсветах уличного фонаря она разглядела, что лицо у человека, лежащего навзничь на диване, все-таки живое, хотя и залито кровью. Приглядевшись, Алиса поняла, что кровь течет из рассеченной брови.

«В бровь, наверно, и ударили, – подумала она. – То есть в голову. Потому и сознание потерял».

Она открыла кухонный шкафчик. Там стояли лекарства, которые Алиса привезла из Америки. Лекарства дала мама: Джек уверил ее, что в России лекарств либо нет вообще, либо они сделаны из воды и мела. В солидной аптечке, Алиса точно помнила, был и нашатырь. Видимо, мама считала, что ее безоглядная дочь будет ежедневно сталкиваться на улицах Москвы с медведями и ежедневно падать от этого в обморок, так что нашатырь ей непременно понадобится. А может, это Джек так считал; мама доверяла его мнению.

Алиса поднесла нашатырный карандаш к носу лежащего на диване мужчины.

«А может, не надо его в сознание приводить? – вдруг подумала она. – Лучше кровь сначала остановить? Или врача вызвать?»

Она не была ни напугана, ни растерянна. Но опыт оказания помощи раненым у нее отсутствовал, к тому же она не знала, насколько быстро может приехать по вызову московский врач и что нужно, чтобы он приехал, – наверное, медицинская страховка?

Да вообще-то уже было и неважно, что следовало сделать сначала и что потом. Ночной гость коротко застонал, открыл глаза и сел на диване. Кровь от этого потекла по его лицу еще сильнее.

– Вам лучше лечь, – сказала Алиса.

Он вздрогнул и посмотрел на нее так, словно она была привидением. Впрочем, может быть, в колеблющемся свете уличного фонаря она именно и выглядела как привидение, особенно для человека, который еще не совсем пришел в себя.

– Лучше ложитесь, – повторила Алиса. – У вас кровь сильно течет. Но вы не бойтесь. Это просто потому, что бровь рассечена. Из брови всегда течет много крови. И из пятки тоже.

Он всмотрелся в ее лицо и засмеялся.

«Кажется, не бандит, – подумала Алиса. – Мне повезло».

– А откуда вы знаете про бровь и пятку? – спросил он.

Его смех и голос были похожи.

– А я однажды тоже бровь рассекла, – сказала Алиса. – Мне даже швы накладывали.

– Тоже в подъезде дрались?

– Не в подъезде. Просто на улице.

Бровь ей рассек Бобби Салливан. Ей было тогда семь лет, и она научилась брать на лошади препятствие – неширокий ручей, отделявший их ранчо от соседского, где жил Бобби, ее самый лучший друг. Он был уверен, что у него это получится так же легко, как у Алисы, а когда не получилось, в сердцах толкнул ее на колючий куст, прямо на обломанную лошадью ветку. Она тогда рассердилась так, что ударила Бобби кнутовищем, хотя вообще-то не была драчуньей, к тому же кровь заливала ей глаз. Но она все-таки ударила Бобби и крикнула, что презирает завистника навеки. Но навеки не получилось, потому что через месяц мама вышла замуж за Джека и они уехали с техасского ранчо в Нью-Йорк.

– А как я у вас оказался? – спросил он, озираясь.

– Через дверь.

– Я вошел в дверь? – удивился он.

– А что, обычно вы входите в дом как-то иначе? – улыбнулась Алиса.

Ей нравилось его удивление. Оно делало его взгляд детским. Вот в голосе его и в смехе ничего детского не было. Даже наоборот. И то, что его голос и смех не совпадают со взглядом, нравилось ей в ночном визитере тоже.

– Вы не совсем вошли. Просто упали спиной вперед, – сжалилась она. Все-таки, наверное, человеку неприятно чувствовать провалы в памяти. – Давайте вытрем

кровь.

Она наконец нашла в аптечке пакет с кровоостанавливающими салфетками и, разорвав упаковку, подошла к раненому.

– Это не больно, – сказала она. – Не бойтесь.

По его взгляду было понятно, что он не боится. Алиса вытерла кровь одной салфеткой, а вторую приложила к его брови.

– Подержите вот так. Может быть, даже врача вызывать не придется, – сказала она. – Рана не очень глубокая.

– Вы не думайте, – сказал он, – я не потому дрался, что бандит.

– Я об этом не думаю. Хотите выпить? – И как она забыла, что ему больно! Конечно, алкоголь будет очень кстати. – Виски, или коньяк, или водку?

– Спасибо, – кивнул он. – Все равно что.

Он прижимал салфетку к брови и чуть заметно морщился.

Алиса достала из холодильника бутылки, из буфета стаканы, налила ему виски, а себе водку и сказала:

– Ваше здоровье…

– Тимофей, – подсказал он. – И ваше…

– Алиса.

– У меня наконец в голове прояснилось. – Он опять улыбнулся. Глаза сразу опять сделались непохожими на голос. – Вы меня с черной лестницы к себе в квартиру втащили, да? В бессознательном состоянии.

– Ну да, – кивнула Алиса. – Вернее, вы сами упали в мой дом с черной лестницы. Почему вы смеетесь?

– Потому что вы хорошо говорите.

Удары в дверь с черного хода прекратились. Потом раздался еще один, последний, видимо, досадливый удар, короткий мат, и низкий голос произнес:

– Мы тебя еще достанем!

Алиса подошла к двери и прислушалась – кто-то спустился по лестнице вниз, и стало наконец тихо.

– Вы бесстрашная, – сказал Тимофей.

– Просто здесь крепкие двери. И в мое окно нельзя влезть с улицы.

– В мое тоже, – кивнул он. – Хотя с крыши можно.

– Вы в башенке живете, да? – обрадовалась Алиса. – Там, наверное, хорошо. Я, когда этот дом в первый раз увидела, сразу подумала, что лучшее место в нем башенка.

– Так приходите в гости, – пригласил он. – Вы же соседка, далеко ходить не надо. Можно даже прямо сейчас ко мне пойти. Или когда хотите, тогда и приходите. Если не боитесь.

– Не боюсь. Но я, наверное… Больше не буду ваша соседка.

Впервые с той минуты, когда за стеной раздался шум, Алиса вспомнила все, что произошло с нею до того, как она пришла домой. Но теперь она вспомнила об этом так, словно перешагнула через что-то… Через решение она перешагнула, вот через что! Она не принимала никакого решения, но в ту минуту, когда сказала Тимофею, что больше не будет здесь жить, это решение прояснилось в ней само. Оно далось ей легко, без сомнений и мучений, и это произошло потому, что она высказала его неожиданному человеку, у которого глаза были не похожи на голос и смех.

– Жаль, – сказал он.

В тишине, наступившей после ударов по двери и криков, стал слышен шелест и дробный стук в окно. Дождь был в этом году первый. Он шел густо и ровно, как будто делал какую-то важную работу, и от этого становилось так же спокойно, как от пришедшего без сомнений решения. Что-то самостоятельное и важное пронизывало жизнь, как дождь пронизывал апрельскую ночь. Это вдруг стало для Алисы так очевидно, так непреложно, что она рассмеялась.

Она думала, Тимофей спросит, почему она смеется. Она уже привыкла, что русские часто задают вопросы, на которые не хочется отвечать.

Но он ни о чем не спросил. Алиса поняла, что он тоже вслушивается в дождь, потому что это важно и для него.

– Я раньше дождь совсем не любил, – сказал он. – То есть не то что не любил, а просто не понимал.

– Почему?

– По глупости. – Он улыбнулся. – Я ценил только сложные вещи. Думал, они ближе к жизни и смерти. Помню, как-то ночью мороз ударил и фонтан у нас возле дома замерз. Ледяной такой получился букет – застывшая мелодия струй, и все такое. Очень она мне казалась значительной, вот эта образная сложность. А она была просто поверхностной. Извините, – спохватился он.

– За что?

– Ночь уже, вы спать хотите. А я лезу тут… С мелкими частностями.

– Я не хочу спать, – сказала Алиса. – А почему вам теперь кажется, что замерзший фонтан – это мелкая частность?

– Но вот же, – он кивнул на окно. – Дождь. Потому и кажется.

Это было сказано совершенно непонятно, но Алиса поняла. Простота жизни – не та, что сродни примитивности, а особенная, в которую, как в тугую пружину, скручена вся этой жизни сложность, – была ей сейчас так же понятна, как и ему.

– Я пойду, – сказал Тимофей. – Спасибо, Алиса. Жаль, что вы больше не будете моей соседкой.

– Вы не совсем плохо себя чувствуете? – спросила она.

– Даже хорошо я себя чувствую. У вас виски хорошее, – улыбнулся он. – Взбодрило.

– Тогда, может быть, вы мне поможете? То есть не поможете, а… Просто побудете здесь, пока я соберусь? Понимаете, я хочу уехать прямо сейчас, и мне… В общем, я через пятнадцать минут буду готова. Это окажется очень трудно для вас?

От волнения она даже стала говорить по-русски не совсем правильно и сама это расслышала. Но ей очень хотелось уйти именно сейчас, пока простой шум дождя за окном придает ей уверенности в том, что она поступает правильно. И Тимофей с его рассеченной бровью, с его детским взглядом и взрослым голосом придавал Алисе в этом уверенности не меньше, чем дождь, и ей очень хотелось, чтобы он подождал, пока она соберет вещи, и чтобы они вышли из квартиры вместе.

– Я подожду, – сказал он.

– Вы случайно не американец? – засмеялась Алиса.

– Нет, – удивился Тимофей. – А почему вы подумали?

– Потому что русский мужчина стал бы уверять, что ради прекрасной женщины он сейчас горы свернет, и вынесет ее из квартиры на руках, и все такое. А вы просто сказали, что подождете.

– А вы, значит, американка, – догадался он. – То-то я слышу, что акцент, но не пойму, какой. Но я и правда могу помочь вещи вынести. Вы не стесняйтесь, я

привык тяжести носить.

– Я не стесняюсь. Но у меня нет тяжелых вещей. Вы просто подождите, ладно?

Она не хотела собираться второпях – в сердцах, так это называлось, – поэтому собиралась взять сейчас только самое необходимое. Хотя вообще-то все, что составляло ее жизнь в Москве, и состояло ведь из самого необходимого. Да и не только в Москве… Ну, неважно. Она хотела уйти прямо сейчас вовсе не для того, чтобы избежать объяснений с Маратом, они все равно должны были состояться – романтическая необъясненность обычных житейских поступков казалась ей глупой и претенциозной. Но пусть они состоятся потом. Когда не будет дождя и жизнь станет ближе к обыденности.

Алиса быстро сложила в сумку одежду, поверх нее бросила непромокаемые ботинки, которые вытряхнула из обувной коробки. Она вспомнила вдруг, что бабушка Эстер почему-то называла ботинки башмаками. В детстве Алисе казалось, что ботинки и башмаки – это звучит по-русски одинаково, что никакой разницы между этими словами нет. Но когда она однажды назвала ботинки башмаками уже здесь, в Москве, то Марат очень удивился. И только после этого Алиса вспомнила, что бабушка говорила в связи с этими ботинками-башмаками про какую-то словесную разницу, которая выдает человека из хорошей семьи.

– Вот Ксенька, – говорила она, – никогда не сказала бы не то что «ложить», но даже, например, «я смогу». Глагол «мочь» не имеет совершенного вида.

В тринадцать лет, когда она жила с бабушкой, Алиса говорила по-русски не хуже, чем сейчас, когда прожила полгода в Москве. Но разбираться в таких тонкостях все-таки не считала необходимым. Ведь бабушка и сама ничего не знала о судьбе этой Ксеньки, лучшей подруги своей юности, так стоило ли Алисе запоминать, как эта эфемерная девушка разговаривала?

– Может, вам опасно сейчас выходить? – только в прихожей спохватилась Алиса. – Вы можете остаться здесь. А когда решите подняться к себе, то просто захлопнете дверь.

– Ничего, – сказал Тимофей. – Никакой опасности. Они ушли, вы же слышали.

Дождь кончился. Алиса пожалела, что он кончился, и, не удержавшись, сказала об этом Тимофею.

– Хочется работать, когда дождь идет, – объяснила она. – Потому что работа избавляет от всего ненужного. Это, наверное, не очень понятно, – вздохнула она. – Мне все-таки трудно выражать отвлеченные понятия, а русский язык состоит из них наполовину.

– Это очень даже понятно, – сказал он. – И что ж тут отвлеченного? Все первое прекрасно. Первая реальность. А дождь – это как раз и есть первая реальность. Понимаете?

– Ну да, – кивнула Алиса.

Собирая вещи, она успела вызвать такси. Машина подошла через минуту после того, как они с Тимофеем вышли из подъезда, и спрашивать, что такое первая реальность, было уже некогда. Впрочем, Алиса и так это поняла, без расспросов.

Тимофей поставил в багажник ее сумку и предложил:

– Может, лучше мне с вами поехать? Я бы вас до квартиры проводил. Мало ли…

– Не надо, – отказалась Алиса. – Я еду в отель, в котором живет много моих друзей. Так что это неопасно. И вы же сами сказали, что я бесстрашная, – улыбнулась она. – До свидания. Была хорошая ночь. Только голова у вас, наверно, болит.

– Уже прошла. Спасибо.

– В гостиницу «Советская», – сказала Алиса шоферу.

Дождь кончился, и ночь вот-вот должна была кончиться тоже. Но чувство правильности всего, что она делала в эту ночь, осталось. Оно было таким сильным, что казалось почти равным счастью.

Глава 8

– Если бы я знала, что правильно и что неправильно!

Эстер сердито стукнула кулаком по подоконнику, на котором сидела во все время разговора с Ксенькой.

– А разве ты этого не знаешь? – улыбнулась та.

– Понятия не имею!

– Ты заблуждаешься. – Ксенькина улыбка показалась Эстер не то что едва заметной, такою-то она была всегда, но какой-то… до глубины души усталой. – Звездочка, ты всегда знаешь, что правильно и что неправильно. Это твое природное свойство, такое знание.

– Да ну, глупости, – махнула рукой Эстер. – Ой, Ксенечка, извини! Во всяком случае, это какие-то отвлеченности – то, что ты говоришь. И думать о них я не вижу смысла. А вот как мне вести себя в положении неотвлеченном, это надо решить. Но как это решить, я не знаю.

Эстер вовсе не предполагала, что Ксенька поможет ей разобраться в неотвлеченном положении, которое весь последний месяц составляло главную заботу ее жизни. Она просто размышляла вслух.

Эстер давно уже заметила, что Ксенькино присутствие, бесплотное, как присутствие эльфа в лесу или сиреневого облака в весенних зарослях, – явление магическое. Мысли при ней всегда приобретали стройность, а решения, которые во всякой другой обстановке казались Эстер трудными, даже мучительными, от одного лишь молчаливого внимания ее подруги становились простыми и ясными, да и приходили как-то сами собою.

И вот сейчас Эстер надо было решить, оставаться ли в студии Художественного театра, куда ей помогла поступить Алиса Коонен, или же принять предложение, сделанное ей месяц назад, и уйти в Мюзик-холл, на освободившееся место одной из тридцати герлс. Об этих герлс, которых обучил, а точнее, взрастил специально для Мюзик-холла балетмейстер Касьян Голейзовский, не писали или

хотя бы не судачили разве только ленивые театральные критики. Одни утверждали, что герлс сделаны по американскому лекалу и потому творчески несостоятельны, другие сетовали, что они не вполне этому лекалу соответствуют, а значит, и не имеют права на существование…

– Но самое отвратительное, когда заводят шарманку про идейную направленность социалистического искусства, – сказала Эстер. – Про жалкое копирование Америки еще мыслимо выдержать, но про социалистическую идею искусства – нет, совершенно невозможно.

– А ты еще не привыкла? – усмехнулась Ксения. – По-моему, из этих пустых фраз состоит вся наша жизнь.

При этом Ксения быстро провела ладонью по лбу – так, словно продиралась сквозь пустые фразы, как сквозь паутину, и они пристали к ее коже, доставляя физическое неудобство. Эстер улыбнулась. Чутье ко всякой фальши и природная к ней брезгливость были у Ксеньки органичны, как обоняние и осязание.

– А зачем к ним привыкать? – сказала Эстер. – Мы же не привыкаем к…

Тут, впрочем, она затруднилась со сравнением. Она хотела сказать, что не привыкают же они, например, к отсутствию у них в «Марселе» горячей воды. Но это было бы неправдой – все-таки без горячей воды они как-то обходились: когда надо было помыться или постирать, то грели воду в бельевых баках. А разговоры и статьи про задачи социалистического строительства в советском театре и про прочие подобные гадости выводили Эстер из себя еще в те времена, когда она занималась в мастерской Фореггера. И теперь, по прошествии двух лет, все это по-прежнему казалось ей отвратительным.

Лишь только она вспомнила про Мастфор, мысли ее сразу же отвлеклись от глупых фраз и вернулись к нынешнему предложению Голейзовского.

– Конечно, я пошла бы в Мюзик-холл, – задумчиво произнесла она. – Я ведь этому у Фореггера и училась.

– Так в чем же тогда дело?

Ксенька, казалось, слышала ее мысли так же легко, как слова. Во всяком случае, на эту фразу она ответила так, словно их разговор не прерывался на то короткое время, что Эстер молча размышляла.

– Но Художественный театр, вот что! Это же мечта, это больше даже, чем мечта, – сказка волшебная, чаша Грааля!

– Так уж и чаша Грааля, – улыбнулась Ксенька. – Не преувеличивай, Звездочка.

– И нисколько не преувеличиваю! – горячо воскликнула Эстер. – Еще даже преуменьшаю. Ну что мне до Грааля? А МХТ… – Мечтательная улыбка мелькнула у нее на губах. Но тут же исчезла. – И к тому же перед Алисой неловко, – добавила она. – Мне кажется, ее оскорбит, если я предпочту Художественному театру Мюзик-холл.

– А мне кажется, нисколько ее это не оскорбит, – пожала плечами Ксения. – Сама она предпочла же когда-то всему Камерный театр. И даже Константина Сергеевича оскорбить не побоялась.

Из-за присущей Эстер потребности делиться с подругой всяческими новостями, как своими лично, так и всеми новостями театральной Москвы, Ксенька была осведомлена о перипетиях биографии Алисы Коонен – в частности, о том, что та на заре своей карьеры ушла от великого и признанного Станиславского к молодому режиссеру Таирову в его Камерный театр.

– Ну, Алиса в Таирова просто влюбилась, – пожала плечами Эстер. – Но я-то в Голейзовского нисколько не влюблена.

– Потому ты сейчас и колеблешься, – чуть заметно улыбнулась Ксения. – Твой барометр временно выключен.

Эстер засмеялась. Все-таки Ксенька читала ее мысли, кажется, даже прежде, чем они превращались у нее в голове из смутных клубков в блестящие нити. Конечно, она была когда-то влюблена в своего учителя Фореггера! Да и была ли у Николая Михайловича хоть одна не влюбленная в него ученица? Дело было даже не в эффектной его элегантности, неизменной частью которой была, например, курительная трубка, а в потрясающей, ни на секунду не иссякающей его фантазии. Фореггер импровизировал каждую секунду – читал ли он лекцию о

комедии масок и театре шарлатанов, показывал ли костюмерам, как из старого диванного чехла соорудить одеяние Вестника, парящего над сценой, объяснял ли актрисе смысл какого-нибудь танцевального движения… Конечно, Эстер была в него влюблена, это просто не могло быть иначе! И когда сгорело здание Мастфора на Арбате, когда в газетах написали, что пожар стал лишь материальной точкой идейного конца Фореггера, – господи, какая глупая трескотня, ну как можно сказать «точка конца»? – она готова была работать в подвале, на чердаке, да хоть на улице! Но Николай Михайлович не взял ее с собой никуда. Ни в передвижную труппу, с которой сразу после пожара уехал на гастроли, ни потом на Украину, куда его пригласили руководить Киевской эстрадой… Что с того, что Эстер было тогда шестнадцать лет, что она не была штатной танцовщицей Мастфора? Просто Фореггер не был в нее влюблен, только в этом было дело…

Тогда она ему назло и решила, что никогда больше не будет участвовать ни в гротеске, ни в буффонаде, и влюбилась в Художественный театр. И правда – выключила тот любовный барометр, который всегда руководил ее жизнью. Но откуда Ксенька об этом знает?

Эстер удивленно взглянула на нее. И тут только заметила, как бледно Ксенькино лицо, какие темные тени лежат у нее под глазами. И даже не то что под глазами… Тень заботы лежала на Ксенькином лице, тень неизбывной заботы. И никакой интерес к подружкиным делам – конечно, не деланый, а самый искренний интерес – не мог этой тени скрыть.

– Что с тобой, Ксенечка? – испуганно спросила Эстер. – Ну и дура же я! Эгоистка, – расстроенно уточнила она. – Все о себе да о себе. Месяц тебя толком и не видела, а даже не спрашиваю, как ты, что…

– Да что я? – улыбнулась Ксения. – Идет себе моя жизнь потихоньку, и слава богу.

Эстер трудно было согласиться с тем, что жизнь, идущая себе потихоньку, – это нечто, достойное радости. Но и возражать Ксеньке было бы абсолютным свинством. Лишенцам, какими числились Евдокия Кирилловна Иорданская с внучкой, незаметное течение жизни можно было считать несомненным благом.

Эстер знала, что Ксенька болезненно воспринимает клеймо, которым советская власть отметила ее с такой же неотменимостью, с какой судьба отметила ее всеми нынче презираемым поповским происхождением и соответствующей этому происхождению фамилией. Нет, конечно, Ксенька вовсе не презирала ни происхождение свое, ни фамилию, даже наоборот, гордилась ими. И невозможность принимать участие в выборах советской власти нисколько ее не угнетала. То ли дело Ревекка Аркадьевна, мама Эстер, – она прямо-таки извелась по дороге в Иркутск: а ну как не успеют взяться на учет по новому месту жительства и выборы пропустят?!

О выборах Ксенька не переживала, но вот о том, что ее бабушка на старости лет лишена не то что пенсии – о ней и мечтать не приходилось! – но даже продуктовых карточек, что сама она, тоже заветных карточек лишенная, с трудом находит кратковременную работу, которая только-только позволяет не умереть с голоду, и из-за этой поденной работы, за которую, конечно, надо благодарить Бога, редко выбирается в свои Вербилки, на фарфоровый завод, потому что там работу ей давать боятся, несмотря на ее несомненный, всем очевидный художественный талант, – обо всем этом Ксенька переживала очень.

И со всем этим ничего нельзя было поделать.

То есть по мелочам, в повседневности помочь Ксеньке было можно. Да вот хоть продуктами: Эстер ела, по словам Евдокии Кирилловны, как птичка Божья, поэтому тех продуктов, которые она отоваривала на свои карточки, хватало ей с избытком, да и актерский ресторан «Алатр» на Тверской работал исправно, и кавалеров, мечтающих посидеть в этом ресторане с темноокой красавицей-актрисой, было предостаточно… Но Ксенька категорически отказывалась принимать продукты или тем более деньги даже у своей закадычной подружки.

– Нет, – с обычной своей тихой решительностью говорила она. – Звездочка, я тебя очень люблю и верю в твою искренность, ты же знаешь. Но – нет. – И на сердитый вопрос Эстер, отчего такое твердокаменное упрямство, отвечала: – Я не хотела бы привыкать ни к чьей помощи. Ведь сейчас мы с бабушкой проживаем наверняка не самое трудное время нашей жизни. Кто знает, что нам предстоит в будущем? Лучше не расслабляться.

И что на это можно было возразить? Лишенцев высылали из больших городов целыми семьями. Вон, Петроград, кажется, от них совсем очистили; Эстер вздрагивала, когда слышала это определение. Оно казалось ей даже более

отвратительным, чем ненавистная риторика про идейную направленность искусства. О семье священника Иорданского – точнее, о тихом остатке этой когда-то огромной семьи, каковым являлись теперь Ксения с бабушкой, – попросту забыли. Возможно, лишь потому, что отец Илья, муж Евдокии Кирилловны, тихо скончался еще до революции, а отец Леонид, ее сын и Ксенькин отец, был арестован не в Москве, а в своем рязанском приходе, и там же расстрелян.

Правда, все эти обстоятельства являлись слишком ненадежными причинами для того, чтобы Иорданские могли рассчитывать на сколько-нибудь долговременное благополучие. Ксенька права была в том, что они проживали сейчас не самую трудную часть своей жизни – и в сравнении с прошлым, и в предчувствии будущего. Одно то, что их до сих пор не выселили из Москвы, из отдельной комнаты, притом в таком приличном доме, каким являлся «Марсель»… Эту комнату занимал еще до революции старший сын Евдокии Кирилловны, служивший по почтово-телеграфному ведомству, которому принадлежал дом с таким странным названием. Он и взял к себе мать и племянницу в восемнадцатом году, когда они остались без крова и без средств к существованию. Здесь, в этой комнате, он в том же году тихо сгорел от тифа. Все Иорданские умирали как-то тихо, даже если их расстреливали, как Ксенькиного отца…

«Что в голову лезет! – сердито подумала Эстер. – Умирают тихо… Тьфу-тьфу-тьфу!»

Она сплюнула через левое плечо, не наяву, конечно, а тоже мысленно, и поспешила задать подружке очередной вопрос:

– А как там в твоих Вербилках?

– Не знаю, – ответила Ксения. – Я давно там не была. Пожалуй, с самого твоего приезда из Сибири.

– Да ты что? – изумилась Эстер. – Почему?

– Так.

Ксения никогда не краснела – в минуты сильного душевного волнения она, наоборот, становилась еще бледнее, чем обычно. Сейчас, при упоминании о Вербилках, ее лицо стало прозрачным, как фарфоровая чашка. У Иорданских каким-то чудом сохранились две семейные фарфоровые чашки, сделанные почти двести лет назад на заводе Гарднера. Ксенька хранила чашки в коробочках из пальмового дерева, которые когда-то употреблялись для хранения пастельных красок.

Эстер видела чашки однажды и мельком, но запомнила их прозрачную белизну.

И точно такой белизной облилось сейчас Ксенькино лицо.

– С тобой случилось что-нибудь, Ксень? – спросила Эстер. – Там, в Вербилках?

– Нет, ничего. – Ксения уже взяла себя в руки, и лицо ее стало обычным, просто бледным, без фарфоровой прозрачной хрупкости. – Ты сегодня очень занята, Звездочка?

– Совсем не занята. Даже не верится! – засмеялась Эстер. – Я только утром вспомнила, что воскресенье. В спектакле я сегодня не занята, на репетицию меня не вызывали. А ты еще завтракать со мной не хотела, – укорила она подругу. – Часто ли у меня такая свобода с утра до вечера?

Собственно, ей и удалось сегодня зазвать Ксеньку к себе в комнату на завтрак под предлогом своей воскресной свободы. Хотя, положа руку на сердце, следовало признать, что свободы в жизни Эстер и в будние дни хватало. Не так уж велика была ее нагрузка в студии Художественного театра – оставалось и время, и силы на жизнь вполне привольную.

«Вот если перейду в Мюзик-холл, ни времени, ни сил ни на что, кроме работы, не будет», – подумала Эстер.

И поймала себя на том, что чрезвычайно этому рада.

– Вы должны быть выше картофельно-пайковых забот, – говорил когда-то Николай Михайлович Фореггер. – Иначе какие же вы артисты?

Положим, картофельно-пайковых забот в жизни Эстер и в восемнадцатом году не было, все-таки родители ее были крупными специалистами по телефонной и телеграфной связи, и большевики дорожили их знаниями с самого первого дня своего прихода к власти. Но богемная жизнь чрезвычайно ей нравилась – и во времена первоначальной юности, и теперь, когда юность ее была в самом разгаре. И то, что она готова была променять все эти радости юной свободы на возможность работы, кое-что да значило…

– Если ты не занята, – сказала Ксенька, – то, может быть, составишь мне компанию?

– Конечно, – кивнула Эстер. – А в чем? Ты чему смеешься? – удивилась она.

– Твоей манере удивительной. Ты всегда сначала принимаешь решение, а уж после расспрашиваешь подробности.

– Ну и что? – пожала плечами Эстер. – О мелочах и после можно разузнать. А куда мы с тобой пойдем?

– Я Игната хочу навестить, – сказала Ксенька. – Матрешиного сына, помнишь?

– А!.. – вспомнила Эстер. – А он разве обратно не уехал? Я думала, он в деревне давно.

– Теперь, может быть, уже и в деревне. Хотя он возвращаться вовсе не собирался. У них же в деревне совсем тяжело: голод, жить не на что. Он потому в Москву и приехал, на стройку нанялся. Он и деньги, что зарабатывает, почти все родне отсылает. Но он уже три недели у нас не появляется и знать о себе не дает. Мы с бабушкой беспокоимся.

– О чем беспокоиться? – пожала плечами Эстер. – Будто он вам родственник! И когда ему к вам ходить? Днем работает, вечером гуляет. Что еще крестьянскому парню в Москве делать?

– Не знаю… – задумчиво проговорила Ксения. – Мне казалось, он относился к нам с бабушкой сердечно. Видимо, Матреша хорошо о нас отзывалась.

Еще бы Матреше было не отзываться хорошо о Евдокии Кирилловне с Ксенькой! Бога она должна была за них всю жизнь молить и детям своим то же наказать. Кто поселил бы у себя в комнате приезжую крестьянку, да еще в такие годы, когда по квартирам то и дело ходили с обысками революционные матросы, да еще в таком птичьем положении, в каком жили в Москве сами Иорданские?..

– Но если тебе скучно его навещать, я одна пойду, – сказала Ксенька.

– Вот еще глупости! Как же мне с тобою скучно? – возмутилась Эстер. – Прогуляемся, конечно. Вон погода какая чудесная!

Майское солнце в самом деле заливало комнату веселыми лучами, ветерок колебал занавеску, и липа, растущая под окном, от этого ветерка то и дело протягивала в открытую форточку ветки, покрытые первой чистой зеленью.

– Я через пять минут буду готова. – Видно было, что Ксенька обрадовалась согласию подруги. – Бабушка кое-какую еду для Игната собрала, я возьму и тут же выйду.

– Но я с тобой пойду только при одном условии.

Эстер мгновенно сообразила, как можно выгодно использовать Ксенькино приглашение.

– При каком? – удивилась та.

– Что вот этот сыр ты для бабушки заберешь. И масло тоже, и кофе. А хлеб мы вашему рабочему парнишке отнесем. У меня почти полфунта черного осталось, пожертвую уж передовому пролетариату.

Эстер ожидала, что Ксенька, как обычно, станет отказываться, и придется выдумывать какие-нибудь неопровержимые доводы, чтобы отдать Евдокии Кирилловне сыр и масло. Но, видно, Ксенька очень уж торопилась навестить потомка Ломоносова, поэтому возражать не стала.

– Бессовестная ты! – улыбнулась она. – Ну как тебе при таком условии отказать?

– А никак не надо отказывать, – тут же заявила Эстер. – Бери еду и собирайся поскорее. Я тебя через пять минут жду у третьей лестницы, и хлеб вынесу.

Глава 9

Эстер вышла в длинный марсельский коридор, конечно, не через пять минут, а по меньшей мере через пятнадцать. Все-таки ей предстояло идти через всю Москву, и не просто идти, то есть не по темным метельным улицам пробираться, а гулять по прекрасному майскому городу, в который она вписывалась как нарядная буквица в волшебную книжку. Это Ксенька однажды сказала, про буквицу и книжку, и Эстер тогда посмеялась образному подружкиному мышлению.

Но чувствовать себя нарядной ей в самом деле было необходимо, а значит, выйти из дому в ситцевом платьице, в котором она завтракала с подружкой, было просто немыслимо.

Эстер надела шелковую кофточку цвета яичного желтка – ту самую, что купила на Петровке в день своего возвращения из Сибири, и туфельки на венском каблучке, и шелковую же темно-фиолетовую юбку с вышитыми по подолу бледно-фиолетовыми ирисами. Она начала было закручивать волосы в модные «улитки», но передумала и оставила прическу как есть. Волосы у нее были густые, цвета вызревшего каштана, и падали на плечи волнами. Когда эти волны волновались от ветра, вместе с ними волновались мужские сердца, и Эстер отлично это знала, потому и не следовала прихотливой моде в ущерб собственной природе. И пудрой «Лемерсье» она поэтому не пользовалась, хоть и держала ее на туалетном столике за красоту коробочки и пуховки. И купленная на Кузнецком герленовская помада оставалась у нее почти без употребления.

Эстер в последний раз взглянула в зеркало, нашла себя очаровательной и выбежала в коридор. Правда, тут же пришлось вернуться: конечно, она забыла хлеб, который обещала взять для Игната.

Наконец Эстер заперла свою дверь и бегом бросилась по коридору.

– Эстерочка! – вдруг услышала она. – Погоди, детка, остановись на минуту.

«Вот некстати!» – подумала Эстер.

Ни одной лишней минуты для беседы с мадам Францевой у нее не было. И Ксенька у лестницы ждет, и вообще – ну о чем разговаривать со старушкой такой робкой, что, кажется, от любого неосторожного слова она то ли в обморок упадет, то ли вообще облетит, как одуванчик? Эстер не любила беседовать с робкими людьми, потому что ее порывистость плохо сочеталась с тактичным политесом.

Но и обидеть мадам Францеву было невозможно. Как скажешь: «Мне не до вас», – старушке с такими невыцветающими детскими глазами?

– Только на минуточку, Жюли Арнольдовна, – вздохнула Эстер. – Меня Ксения ждет.

– Именно поэтому, Эстерочка, – торопливо закивала мадам Францева. – Я увидела, что Ксенечка была у вас, а потом вышла из своей комнаты с узелком, и подумала, что вы, возможно, куда-то идете вдвоем. А это значит, у вас будет время для беседы с нею, не так ли?

– Так, Жюли Арнольдовна, – засмеялась Эстер. – Вы прямо сыщик Шерлок Холмс!

– Извините, – смутилась мадам Францева. – Я вовсе не из любопытства. Я всего лишь хотела с вами поделиться своей тревогой. Это касается Ксенечки с Евдокией Кирилловной.

Ее шелестящий голос стал при этих последних словах совсем уж неслышным. Эстер насторожилась. При всей трепетности мадам Францевой похоже было, что сейчас у нее есть резонная причина для тревоги.

– А что с ними случилось? – спросила Эстер.

– Пока ничего. Но непременно случится, если они не примут мер. Галя Горобец позавчера выспрашивала у Антона Николаевича, не находит ли он, что комнату в подведомственном доме можно было бы использовать более разумно.

Антон Николаевич Васильков, как и родители Эстер, работал в Московском правлении Союза связи и жил в соседней комнате с Левертовыми. А Галя Горобец была ответственной по дому и жила с сыном, невесткой и их многочисленным потомством этажом ниже, в такой же точно комнате, как у Ксеньки с бабушкой.

– И что Антон Николаевич ответил? – поинтересовалась Эстер.

– Я не слышала, – вздохнула мадам Францева. – Галя меня заметила и демонстративно вышла из кухни. Но дело, мне кажется, не в отзывах Антона Николаевича. Над Ксенечкой нависла опасность, я уверена. Горобец просто так не завела бы такой разговор… Опасность, опасность, и это не обычное мое паникерство, Эстерочка, и не спорьте, и не убеждайте меня в обратном! Алексей Венедиктович, мой покойный супруг, всегда говорил, что у меня особое чутье на опасность. Как у гончей на зайца, – невесело улыбнулась она. – Точнее, наоборот, у зайца на гончую.

– Я не спорю… – проговорила Эстер. – Вы думаете, их хотят выселить?

– Не сомневаюсь. – Мадам Францева часто закивала головой в мелких кудряшках перманента. – И следует удивляться лишь тому, что этого до сих пор не сделали. Конечно, наш «Марсель» не совсем обычная коммуналка, но все же и от здешнего руководства не следует ожидать безмерной либеральности.

«Марсель» в самом деле разительно отличался от большинства московских коммуналок, в которые за последние десять лет превратились все бывшие доходные дома. Конечно, в первые годы после революции он имел обычный для того времени вид: потолок коридора был опутан черными трубами буржуек, которые тянулись из каждой комнаты, все четыре парадных были заколочены, а все три черных лестницы заплескивались водой и зимой превращались в ледяные горы.

Но теперь, в разгар нэпа, дом выглядел уже вполне пристойно. Парадные двери не были заколочены, для уборки кухонь и мест общего пользования была нанята жильцами на приличный оклад уборщица, кроме того, было решено, что огромные марсельские коридоры не должны быть заставляемы старой мебелью и прочим хламом. А неделю назад в каждой комнате снова стал действовать водопровод. В сочетании с высокими потолками, просторными вестибюлями,

зеркальными лифтами, перилами в форме змей и прочими атрибутами стиля сдержанного модерна, в котором перед самой революцией был выстроен этот дом, тогда еще с дорогими магазинами в первом этаже и дорогими же меблированными комнатами во всех остальных, – «Марсель» в самом деле выделялся в унылом ряду коммунальных клоповников.

И, конечно, мадам Францева была права в том, что даже она в любую минуту могла подвергнуться уплотнению, так как происходила «из бывших», да к тому же из французов. Но ее покойный супруг хотя бы успел послужить на Центральном телеграфе не только при царе, но и при советской власти. Права же Иорданских на проживание в «Марселе» были не то что сомнительными – они отсутствовали вовсе.

– Но что же делать, Жюли Арнольдовна? – растерянно спросила Эстер.

Она сама удивилась такому несвойственному ей вопросу, да еще обращенному к даме, которая менее всего была способна что-то посоветовать в сложной ситуации. Но растерянность в самом деле была единственным чувством, которое Эстер сейчас испытывала.

– Ах, если бы Ксенечка вышла замуж! – вздохнула мадам Францева.

– Замуж? – изумилась Эстер. – За кого?

– Уж, верно, не за выпускника семинарии. Такой брак ничем в ее положении не поможет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/berseneva_anna/n-yu-york-moskva-lyubov

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить